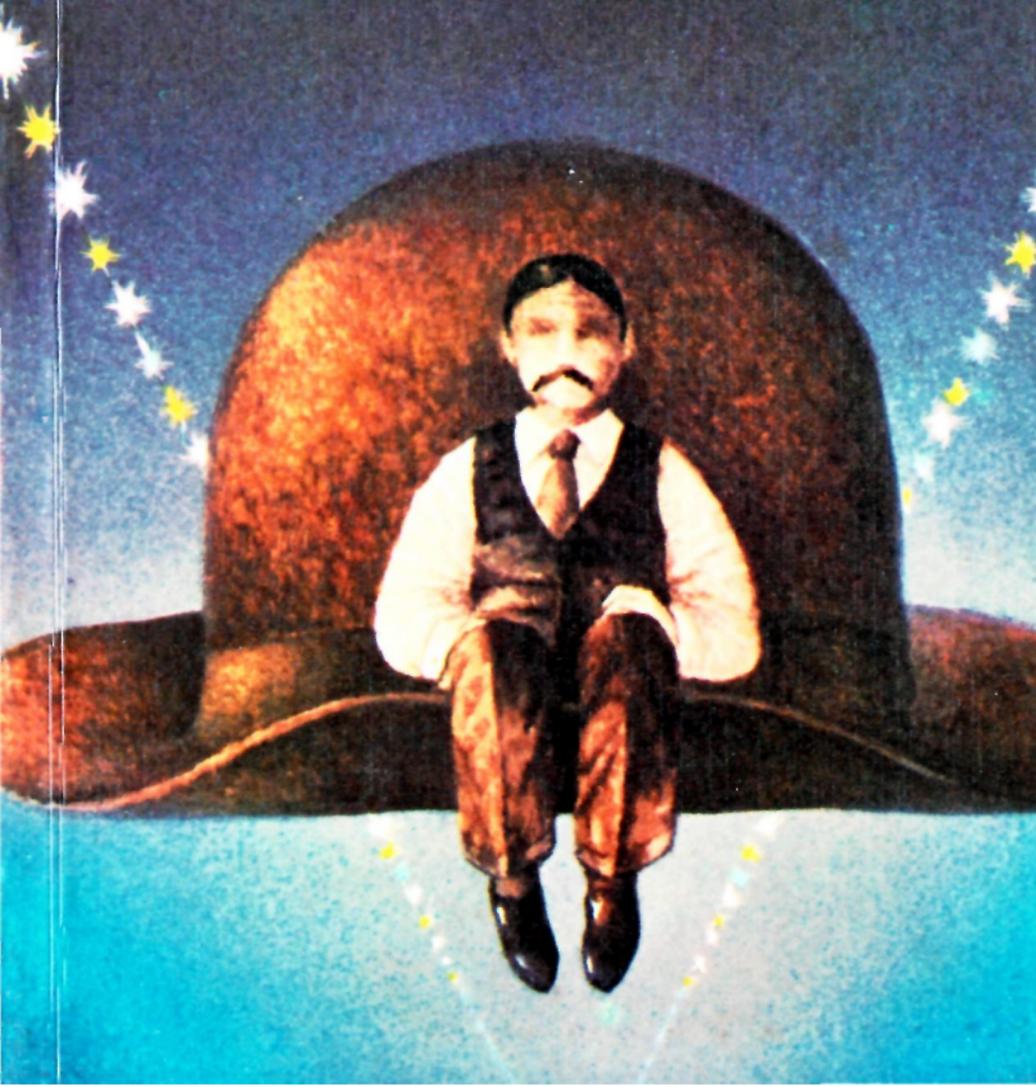


ИЛ

Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

Жильбер Сесброн

# Елисейские поля





## **Жильбер Сесброн (1913—1979) —**

известный французский писатель. Литературную деятельность начал в 1934 г. с выпуска сборника стихов "Поток", но впоследствии перешел к прозе. Первый роман "Парижские юридивые" опубликовал в 1944 г. Затем последовали романы "Наша темница — это царство божие" (1947), "Святые идут в ад" (1952), "Потерявшиеся собаки без ошейника" (1954), "Сумерки" (1962), "Пчела бьется о стекло" (1964), "Убивают Моцарта" (1966) и другие. Всего Сесброн написал семнадцать романов и несколько сборников рассказов и эссе. В некоторых романах он выступает с левокатолических позиций, ратуя за объединение самых различных сил в борьбе с миром зла и насилия. Сесброн пользуется большой популярностью среди французских читателей, особенно среди молодежи. В 1978 г. он получил одну из наиболее почетных литературных премий Франции — Большую литературную премию города Парижа. Рассказы Сесброна отличает интерес к жизни простого человека, тонкий психологизм, неприятие духа наживы.



Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

**Gilbert Cesbron**

Жильбер Сесброн

## Елисейские поля

Рассказы

*Перевод с французского*

*Составление В. Каспарова,  
Н. Мавлевич, Вал. Орлова*

*Предисловие Г. Косикова*

Москва  
«Известия»  
1987

И (Франц)  
С 33

*Главный редактор Н. Т. Федоренко*

*Переводы выполнены участниками  
творческого семинара при СП РСФСР  
под руководством Л. Лунгиной*

*Рецензент Ю. Уваров*

*Обложка художника А. Махова*

© Составление, предисловие, перевод на русский язык, оформление издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1987

## О рассказах Жильбера Сесброна

Есть писатели, чьи имена гремят, хотя случается, что рядовые читатели знают их больше понаслышке, и есть другие, которые не всегда пользуются столь шумной известностью, не получают престижных литературных премий и не становятся героями прессы, но имеют одно неоспоримое преимущество — их много и охотно читают. Жильбер Сесброн (1913—1979) как раз и был одним из таких действительно читаемых в послевоенной Франции авторов и, пожалуй, единственным, чувствовавшим за собой нравственное право каждый свой роман заканчивать словами: «Прощайте же, дети сердца моего!» — словами, обращенными не мэтром-литератором к «благосклонному читателю», а просто человеком — к таким же, как и он сам, людям, которых он любит и которым хочет помочь.

Литература была для Сесброна средством помощи людям. Именно поэтому он так много писал: около двух десятков романов («Невинные дети Парижа», 1944; «Святые идут в ад», 1952; «Убивают Моцарта», 1966; «Дон Жуан осенью», 1975 и др.), несколько пьес («Уже полночь, доктор Швейцер», 1952; «Одинокий человек», 1961; «Бедный Филипп», 1970 и др.), сборники рассказов («Подслушано у ветра», 1950; «Все спит, а я бодрствую», 1959; «Седовласые дети», 1968; «Город, увенчанный терниями», 1974), трехтомный «Дневник без дат» (1963—1973) и более десятка эссе (1953—1978). Все эти произведения не прельщают ни философским глубокомыслием, ни литературной броскостью или формальным новаторством, ни даже увлекательностью интриги. Романы и рассказы Сесброна просты и бесхитростны, как просты и бесхитростны его персонажи, в которых едва ли не каждый «средний француз» без труда узнавал самого себя и свои

проблемы — проблемы «массового человека» в «массовом обществе».

Литература прошлого столетия лишь отчасти была знакома с подобными проблемами. Гораздо больше ее привлекал «героический герой» — незаурядная личность, стремящаяся к утверждению своего «я» путем развертывания вовне богатых внутренних возможностей.

В литературе же XX века герой оказался заметно потеснен, а на передний план стал все больше выдвигаться «негероический», «массовидный» персонаж — современная разновидность «маленького человека». Так и у Сесброна. Его персонажи — это именно заурядные люди: чиновники, учителя, парикмахеры, оркестранты, отставные военные, пенсионеры — несложные в общем-то существа, не блестящие ни яркими талантами, ни даже особыми дарованиями. Всматриваясь в калейдоскоп их лиц, Сесброн вынужден констатировать, что по большей части они почти неотличимы друг от друга: внутренний мир, внешний облик и образ жизни этих людей различаются только в зависимости от среды, в которой они живут, и от места, где служат; иной раз Сесброн снабжает их одними только инициалами — Шарль В. («АГРЕГАМ»), Жан-Марк Д. («Электронный мозг») или просто Д. («Возвращение»).

Причина в том, что, как правило, в основе жизни этих людей не лежит их собственная инициатива; стремление к самореализации не является их настоящей потребностью, идеалом действия и борьбы. Они живут в мире готовых социальных форм и до поры безропотно им подчиняются, подобно господину Бруарделю из рассказа «Президент Бруардель»: «Свои мечты, замыслы, вспышки гнева — все проявления его личности он ухитрялся втискивать в незыблемые рамки распорядка дня: подъем, приход в министерство, обед, обязательная сигара после еды, мытье рук и т. д.». «При таком образе жизни, — иронически замечает Сесброн, — только два события должны были на-

рушить привычное течение его дней: выход на пенсию и смерть».

Сесброн тревожит не только запрограммированность существования современного «маленького человека», но и — пожалуй, в большей степени — тот факт, что он готов свыкнуться с ней, не стремится изменить ни собственную судьбу, ни судьбу мира, страшась заглянуть вперед, как это происходит с учителем истории Форлоннером (рассказ «Дорога Форлоннера»), когда перед ним открывается фантастическая возможность приоткрыть завесу грядущего: «Еще один шаг, Форлоннер, еще шаг... Ты узнаешь будущее, узнаешь то, чего нет ни в одном учебнике истории... Только один шаг!» «Нет, — кричит учитель, — нет, это не входит в программу!»

Утратив внутреннее единство и уникальность лица, «запрограммированный индивид» оказывается раздробленным на множество социальных ролей, которые навязывает ему общество. Это стандартный и легко заменимый «винтик», функция огромного безликого целого — существо, до которого никому нет дела, одинокое в анонимной толпе, остающееся один на один со своей потерянной жизнью и никем не оплаканной смертью.

Сесброн, конечно, далеко не первый изобразил такого обесцененного индивида и не первый поставил вопрос о том, каково же может быть значение его жизни, — вопрос, на который современная литература дает очень разные ответы, то осыпая массовидность бессильными проклятиями, то в отчаянии примиряясь с ней, а то исподтишка злорадствуя по поводу ее пришествия.

Сесброн же зачастую относится к своим «умаленным» персонажам с улыбкой (юмор пронизывает такие рассказы, как «Господин Стефан уже не видит снов...», «Четверть первого», «Президент Бруардель», «Папаша» и др.), хотя в этой улыбке различима не столько насмешка, издевка или снисходительность, сколько требовательность. Требовательность эта проистекает из веры Сесброна в человека,

причем из веры не в отдельных избранников, а в самого что ни на есть обычного индивида, ибо в обезличенности и конформизме, считает писатель, проявляется не исконная природа человека, а глубочайшее искажение этой природы. Гуманист Сесброн убежден в существовании нерасторжимо ядра всякой личности. Это ядро может быть как угодно деформировано, загнано глубоко внутрь, в подполье, но оно никогда не может быть уничтожено полностью. Сесброн всегда изображает не одномерного, а раздвоенного человека, у которого есть наружный, всем доступный «лик» и в то же время сокровенное, потаенное «лицо», иногда — потаенное от него же самого. «Лик», лишенный подлинности, «души», и «душа», которой отказано в выражении, — на этом контрасте построены едва ли не все рассказы Сесброна.

Для писателя при этом особенно важны два момента. Во-первых, несомненное оскудение современного «человека толпы» отнюдь не является фатальной неизбежностью, с которой невозможно бороться: вина за нивелированность индивидов лежит не только на внешних обстоятельствах, но и на самих этих индивидах, поддавшихся давлению и тем совершивших предательство по отношению к собственному «я». А это значит, во-вторых, что неумерщвленное «я» при первом удобном случае пытается пробиться наружу и заявить о себе.

Иногда такие попытки бывают очень робкими, а личностный запрос персонажа — глухим или смутным, как, например, у господина Мейяра («Блудный отец»), которого надвигающаяся старость вдруг заставляет ощутить никчемность добропорядочно прожитой жизни и испытать «жажду подлинных чувств», хотя утолить ее он так и не решает; или как у некоего Альбера, способного защитить свою свободу лишь путем бегства из собственного дома («Зеркало»). Но бывает, что Сесброн изображает и гораздо более острые ситуации. В рассказе «Возвращение» облик незаметного министерского чиновника, с которым Д. сжился

за долгие годы службы, в один прекрасный день становится для него настолько чужд и ненавистен, что самоубийство оказывается для героя единственным средством возвратиться к самому себе. Трагически заканчивается и рассказ «Смутьян», где герой предпочитает уйти из жизни, но не пожертвовать своими представлениями о человеческом достоинстве и долге.

Однако катастрофические и тем более пессимистические финалы не характерны для Сесброна. В том-то и заключается его вера в человека, что он убежден в его огромной внутренней сопротивляемости. Сесброн стоит на стороне тех, кто отвергает саму идею «поражения личности в XX веке». В человеке он видит существо, имеющее не только отвлеченное право, но и реальную возможность быть индивидуальностью, сохранить свою «самость» внутри жизненного круга, а не путем бегства из него. Упустит личность эту возможность или воспользуется ею, зависит лишь от нее самой.

И здесь Сесброн изображает весьма широкий круг ситуаций — от курьезных до почти патетических.

В рассказе «Фамилия» с героем происходит подлинная метаморфоза. Прочно устроенный в жизни глава семейства Бертжевалей в один прекрасный день случайно обнаруживает во французской «глубинке» крохотный городок Бертжеваль, а рядом с ним нечто вроде старинного «замка», купив который, он начинает едва ли не всерьез воображать себя потомком знаменитой фамилии. «Это тщеславие», — говорит жена, озабоченная лишь тем, как вырастить детей и устроить себе и супругу спокойную старость. «Дети поймут меня лучше, чем ты, — с горечью заметил муж. — Не тщеславие, а гордость... это честь нашей семьи». Бертжеваль трогателен в своем наивном самообмане, но он убедителен в своем нравственном самоутверждении, ибо добивается того, о чем втайне мечтал всю жизнь, — обрести «лицо», от которого он уже не отступает и которое наполняет смыслом всю его дальнейшую жизнь.

Ключом к пониманию Сесброна во многом служит его «антиутопический» рассказ «Электронный мозг», где действие происходит в XXI веке и где специально сконструированная ЭВМ, располагающая исчерпывающими данными о юном герое (о состоянии его здоровья, об умственных способностях, вкусах, привычках), безошибочно указывает профессию, которую ему надлежит выбрать («адвокат»), девушку, на которой следует жениться ровно через два года («ровесница, худощавая блондинка» — выбор невесты машина берет на себя), точный адрес квартиры, которую он должен снять, и т. п. Машина действует «из лучших побуждений», она навязывает Жану-Марку оптимальный вариант его судьбы, но тем самым не оставляет ему никакой свободы. И тогда герой взрывается: «Меня зовут Жан-Марк... Это мое собственное имя, и я свободный человек... Я стану краснодеревщиком... и поселюсь в доме у реки с женщиной, на которой я женюсь в этом году. Она брюнетка... старше меня и вовсе не худощавая. Ее зовут Свобода. Понятно вам? Свобода!.. И мы оба — единственные и неповторимые. Понятно? **МЫ ОБА — ЕДИНСТВЕННЫЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ...**»

Но что же неповторимого в таких вот Жанах-Марках, которых, как сообщает непогрешимый компьютер, во Франции насчитывается не больше не меньше как 953 504 человека? Что неповторимого в персонажах Сесброна?

Неповторимость для него — не в уникальности личности, а во внутреннем единстве ее жизненных установок, не в степени оригинальности «я», а в степени его самоидентификации, которая не позволяет вытеснить себя никакому другому индивиду, потому что ни один человек не может быть замещен в акте своего решения; никто не может сделать за него его нравственного выбора и переложить на свои плечи ответственность за этот выбор. А отсюда, по Сесброну, следует, что если далеко не всякому дано пережить яркую, захватывающую судьбу, если

не всякая личность обладает богатством, глубиной и разнообразием, то зато всякая в основе своей нравственно значительна. Взятые извне, со стороны своей «функциональной полезности», люди и вправду могут быть восприняты как стандартные винтики, но взятые изнутри, со стороны своей нравственной сущности, все они без исключения — «единственные» и «неповторимые», так что к любому из них применимы слова Гейне: «Разве жизнь отдельного человека не столь же ценна, как и жизнь целого поколения? Ведь каждый отдельный человек — это целый мир, рождающийся и умирающий вместе с ним, под каждым надгробным камнем — история целого мира» \*. Сесброн подписался бы под этими словами, только он не стал бы настаивать на отдельности — отделенности — людей друг от друга, поскольку нравственный выбор личности, с его точки зрения, предполагает ее неизбежную ответственность не только перед самой собой, но и перед всеми теми, кто вовлечен в круг этого выбора. Сержант Тевенен, который, вернувшись домой, «снял шинель и мешок, а заодно снял с себя и ответственность» за любовь, которую предал, поплатился за это безысходным одиночеством («Немецкая овчарка»), ибо личность, по Сесброну, утверждает себя не «центростремительно», а «центробежно»: только тому, кто способен хоть в чем-то пожертвовать своим эгоистическим покоем ради другого, дано рассчитывать на ответное чувство. Верность своему «я» не разъединяет, но, напротив, объединяет людей и позволяет надеяться на торжество понимания и справедливости, человеческой солидарности и общезначимых этических ценностей — таково кредо Сесброна.

Уверенный в неистребимом достоинстве «маленького человека», Сесброн стремился и в него самого вселить такую уверенность, устанавливая неподдельный гуманистический контакт с «детьми своего сердца».

*Г. Косиков*

\* Гейне Г. Собр. соч. в 10-ти томах, 1957, т. 4, с. 224

## Елисейские поля

Устроившись на своем обычном месте в автобусе, господин Пупарден вытаскивал носовой платок и трижды шумно сморкался; потом складывал его, приглаживал им сначала левый ус, затем правый и со словами: «Прошу прощения, мадам» — отправлял его в карман брюк. После этого он окидывал взглядом школьного учителя, соседку и остальных пассажиров, доставал часы, которые в это время неизменно показывали три минуты девятого, клал их назад в жилетный кармашек и неспешно разворачивал «Фигаро». Подняв брови, он пробежал первую страницу с видом монарха, которому его верноподданные — мореплаватели, ученые, миссионеры — представляют отчет обо всем, что они совершили, но который воздерживается выказывать им свое удовлетворение, а затем, какие бы события ни сотрясали мир, он первым делом углублялся в светскую хронику.

«Фигаро» — вот, пожалуй, и все, что оставалось у него от бывшего положения в обществе. В 1920 году господин Пупарден унаследовал от отца пост государственного оценщика антиквариата, но, как выяснилось, он не имел ни малейшего призвания к этому занятию. Уразумев сие в 1924 году, он продал свою контору прежде, чем окончательно разорился. К несчастью, вместо того чтобы предоставить заботу об уменьшении своего состояния естественному ходу событий, а также государству, в чьи функции это входит наряду с прочим, он облегчил им задачу, начав играть на бирже. В 1930 году господин Пупарден с женой и дочерью в третий раз сменил квартиру. При каждом переезде они забирались этажом выше и теряли одну комнату; в итоге у них остались две спальни, столовая и крохотная гостиная на шестом этаже. Всякий

раз приходилось продавать мебель: «К чему загромождать квартиру? Вещей и без того слишком много...» Однако они сохранили верность своему району, Плен-Монсо: хотя они переселялись все дальше от парка, на узкие торговые улочки, но родные места не покинули.

В том же году, в возрасте сорока шести лет, господин Пупарден принялся за поиски места. Поначалу он держался уверенно: «Я мсье Пупарден, вы, должно быть, слышали — государственный оценщик... Как? Да нет же, не Покардан! Пупарден: дэ-э-эн», затем стал куда скромнее: выговаривал свою фамилию по буквам прежде, чем его об этом просили, и заверял, что его «устроит какая угодно должность, пусть даже самая скромная...» В конце концов ему удалось приискать себе службу, на которую сегодня утром, как и ежедневно на протяжении вот уже двенадцати лет, он ехал автобусом восемь ноль три. Это было нечто вроде архива, о существовании которого забыли, похоже, все, включая и министерство, в чьем ведении он числился. Служба приносила господину Пупардену восемьсот пятьдесят франков в месяц — этот заработок с добавлением жалких остатков его состояния позволял его семье сводить концы с концами.

Первое время господин Пупарден, гордый тем, что зарабатывает кое-что и своим трудом, частенько заговаривал о своей службе: «Мы в министерстве весьма опасаемся, что...» или: «Из надежного источника нашему министерству стало известно...» Стоило же кому-нибудь задать пару вопросов, как он неизбежно запутывался, и госпожа Пупарден, видя, что с губ супруга вот-вот сорвется очередная нелепица, страдала и спешила на выручку: «Мой муж просто не может сидеть без дела! Поэтому я и сказала ему: «Друг мой, раз уж вам так нейдет, что ж, подыщите себе место! Неважно какое!»

Прочитав светскую хронику «Фигаро», затем редакционную статью и очередную порцию романа с продолжением, господин Пупарден поднимал глаза, чтобы взглянуть на

часы на перекрестке у Обсерватории: восемь семнадцать. Как-то раз светская хроника оказалась чуть длиннее обычного, и когда господин Пупарден посмотрел в окно, автобус уже успел въехать на бульвар Пор-Рояль; на какой-то миг его сердце забило в панике: почва ускользала у него из-под ног. Ведь его покой, да и сама жизнь его зиждились именно на этой упорядоченности: изо дня в день он в одно и то же время совершал одни и те же поступки. Господин Пупарден справлял нужду в строго определенные часы, в понедельник непременно съедал вареное мясо с овощами, по пятницам вечером обязательно ходил в кино и так далее. Он не мог без ужаса вспоминать «смутные времена» — так он называл ту пору, когда он еще плохо знал и кондукторов автобуса, и сослуживцев по «министерству», когда ему иногда еще приходилось выговаривать свою фамилию по буквам. Так обычно вспоминают войну. «Помнишь, Эмма, как я в первый раз пошел на службу? — говорил он и, закрыв глаза, с трагическим выражением добавлял: — Я никогда этого не забуду...»

Госпожа Пупарден любила супруга и восхищалась его мужеством. Хотя люди внушали ей трепет, она считала своим долгом принимать их, чтобы сохранить свое положение в обществе. Ох уж эти люди! Они задают вопросы, они усаживаются непременно в кресло с надломанной ножкой, они беглым взглядом отмечают, что вы всякий раз в одном и том же платье; они зарабатывают деньги, выдают замуж своих дочерей и таким снисходительным тоном говорят о вас: «Что ж, это вполне приличная семья». Свое положение в обществе госпожа Пупарден унаследовала от предков и изо всех сил стремилась передать его потомкам. Деньги были не единственным средством сохранить положение в обществе. Были и другие: например, передавать цветы или конфеты, которые ей изредка посылали, или копировать для дочери фасоны платьев знаменитых домов моделей (увы, старомодные кружева сразу делали их смешными), или самой готовить обед для гостей

(хотя потом ее бархатный корсаж весь вечер вонял подгоревшим жиром). Но если бы ее, не приведи господь, пожалели, госпожа Пупарден умерла бы со стыда: еще бы, оказаться не на высоте своего положения...

Восемь двадцать три: господин Пупарден выходит из автобуса, смотрит сначала налево, потом направо, переходит на ту сторону улицы и оказывается у своего «министерства». Он приветствует рассыльного, храброго малого, потерявшего на войне руку, а заодно и всю свою приветливость: «Добрый день, мсье Эмиль». (Оказывается, господин Пупарден присюсюкивает.) Эмиль отвечает невнятным бурчанием и смотрит на часы. И так каждое утро уже более десяти лет — господину Пупардену это действует на нервы. «Какими злыми бывают люди», — сокрушается он.

В конторе их пятеро: начальник, он сам, его коллега Вотрье, Эмиль и мадемуазель Тереза, секретарша весьма почтенного возраста — похоже, она появилась на свет задолго до изобретения пишущей машинки. Впрочем, машинки в конторе нет: вся работа заключается в хранении архивов, в переписывании карточек и в приеме посетителей, которым может понадобиться та или иная справка. Но посетители появлялись так редко, что в конце концов их стали выпроваживать как непрошенных гостей, — так поступают старики торговцы: им лучше растерять покупателей, но сохранить свои запасы. Работа с карточками — выполняй ее все с должным усердием — занимала бы не больше месяца в году, поэтому они стараются работать как можно медленней. Утро проходит за чтением газет — сразу было условлено, кому какую покупать, так что каждый имеет возможность прочитывать пять разных. После обеда все подремывают, переписывают по нескольку карточек, посматривают на часы, то и дело ходят мыть руки. Но время тянется так невыносимо медленно, что господин Пупарден завидует умению мадемуазель Те-

резы вязать и способности рассыльного часами сидеть в оцепенении, с отсутствующим взглядом. Его коллега Вотрье и начальник конторы увлекаются филателией. Ежедневно во второй половине дня начальник степенно заходит к ним в комнату: «Мсье Вотрье, соблаговолите заглянуть ко мне...» Тот не считает нужным хотя бы для вида прихватить несколько папок: он берет с собой только толстый альбом, лупу и пинцет, уходит к начальнику и торчит там часами. Господину Пупардену это было бы в высшей степени безразлично, не знай он, что через два года, уходя на пенсию, начальник должен будет назначить себе преемника, и тут Вотрье обскочет его, Пупардена, несмотря на его квалификацию и стаж, потому что он, Пупарден, к маркам равнодушен и собирал только открытки, да и то лет до двенадцати. Ну а Вотрье зарабатывает себе это место изо дня в день, да еще придерживает до наступления решающего момента марку Оранжевого свободного государства 1887 года, «белый овал» штата Техас и пятисантиметрового Наполеона Третьего с двойным оттиском бородки. Впрочем, господин Пупарден свыкся с мыслью, что места начальника ему не видать, и испытывает по этому поводу лишь досаду вроде той, что охватывает его, когда идет дождь или когда полный автобус проходит мимо остановки. Сам-то он давно уже смирился с этой мыслью, но с опаской думает о том, как отнесутся к этому другие: родственники, друзья, а в особенности госпожа Пупарден, которая сочтет это за унижение — разумеется, не для себя лично, а для него, господина Пупардена. Поэтому он не может совсем махнуть на это рукой — хотя бы ради супруги, чтобы не разочаровать ее. Сколько хлопот из-за людей, желающих вам добра! Он будто уже слышит этих непрошенных доброхотов: «Пупарден, старина, и вы это стерпите? Это же такая несправедливость!» Что тут возразишь? Впрочем, всему свое время. До этого еще целых два года... И господин Пупарден погружается в «Трех мушкетеров». Дюма-отец ежедневно обходится Министерству

изящных искусств в двухчасовой заработок господина Пупардена.

Ближе к вечеру секретарша откладывает вязание и заваривает себе на плитке чай. Хотя господин Пупарден не любитель чая, но и он был бы не прочь забавы ради налить себе стаканчик, а потом отхлебывать маленькими глотками, слегка обжигаясь, и приговаривать: «Да-а, как все-таки приятно попить горячего чайку...» Однако табель о рангах он уважает. Есть вольности, простительные секретарше, раз и навсегда решил он про себя, но для заместителя начальника конторы это недопустимо. Так что ему остается лишь следить за каждым движением мадемуазель Терезы взглядом ребенка, завидующего чужой игрушке.

Без четверти шесть всех в конторе как бы охватывает паника. В считанные минуты сложены бумаги, закрыты чернильницы, вымыты руки, надеты шляпы. Но все остаются на местах: первым должен уйти начальник.

Господин Пупарден, которому с ним по пути, переживает на остановке, пока он не уедет, сам же садится в следующий автобус: ему не хочется ни садиться с ним рядом — еще решит, что он втирается в доверие, — ни держаться поодаль с видом почтительного подчиненного. Как трудна жизнь, когда приходится думать обо всех этих мелочах!

Выйдя из автобуса, господин Пупарден спешит на улицу Валери: он знает, что жена с дочерью ждут его, как обычно, на углу проспекта Массне. Но нет: сегодня госпожа Пупарден одна.

— А где Элиза?

— Она еще не вернулась из гостей. Что же ты хочешь, друг мой, — возражает госпожа Пупарден на недовольное ворчание мужа, — ведь ей уже не тридцать лет!

Супруги направляются домой. Чтобы идти в ногу, он старательно частит, она же размашисто удлиняет шаг. Однако они привыкли приноровляться так друг к дружке со дня помолвки.

— А знаешь, и неплохо, что мы одни, — продолжает

госпожа Пупарден. — Звонил мой племянник Адриен, вечером позвонит снова: он хочет поговорить с тобой.

— Со мной? — Господин Пупарден вспоминает, что ему известно об Адриене: кинопродюсер, молодой, деятельный, занимает большой пост, его жена Марианна — двоюродная сестра Элизы. Почему бы и не поговорить — как-никак родственник, но все же не следует чересчур сближаться с теми, кто намного богаче тебя... — Что ему, интересно, от меня нужно?

— Наверно, хочет с тобой посоветоваться, — говорит госпожа Пупарден, сама в это не веря.

— Видимо, так, — соглашается господин Пупарден, который верит в это предположение не больше, чем супруга, но все равно благодарен ей.

Вечер проходит в ожидании звонка, но телефон упорно молчит. В конце концов он все же звонит — в тот самый момент, когда хозяин дома, уже давно порывавшийся, скрывается в уборной.

— Ну конечно!.. Элиза, пусть твой кузен минуточку подождет! Альбер, а ты поторопись!

Подбегает запыхавшийся господин Пупарден, но, прежде чем взять трубку, он считает своим долгом застегнуть все пуговицы.

— Да что ты, Альбер, по телефону ведь не видно.

— Я не привык так разговаривать, — объясняет господин Пупарден, пока Элиза из последних сил поддерживает разговор о фильмах, которые стоит посмотреть, — ни одного из них она не видела. «А вот и папа». — Добрый вечер, Адриен. Прошу меня извинить — я работал... Да... Разумеется... Как завтра?! О нет, это невозможно! Послезавтра, если хотите, — пожалуйста... Договорились. Всего наилучшего, Адриен!.. Спасибо, и вашим также!

— Ну что? — в один голос спрашивают Элиза и ее мать.

— Он хочет повидаться со мной. Тогда все и объяснит.

Обе удовлетворенно кивают, как будто получили исчерпывающий ответ.

— Он намеревался встретиться со мной завтра, — возмущается господин Пупарден. — Вы только представьте себе: завтра! Как будто у меня нет других дел! Я сказал ему: послезавтра. Похоже, он торопится — наверняка, как ты и говорила, ему нужна от меня какая-то услуга.

— Я говорила — совет, друг мой, — робко поправляет госпожа Пупарден.

Господин Пупарден некоторое время размышляет и наконец заключает:

— И все-таки кино — это несерьезно.

И они отправляются спать.

В тот самый день, пока господин Пупарден был на службе, Адриен растолковывал жене тонкости производства и проката фильмов.

— Дорогой, — мягко заметила та, — ты объясняешь мне, наверно, раз в третий, но это выше моего понимания.

— Да потому что тут нет никакой логики, — смеясь, сказал ей муж. — Как раз это больше всего и забавляет меня в моей профессии: ее полная нелогичность.

— И это говоришь ты, выпускник Политехнической школы!

— Вот именно: для меня это что-то новое. Я вот о чем тебе толкую: мы вынуждены приступить к рекламе наших картин еще тогда, когда они только снимаются...

— Китайская грамота какая-то!

— ... и чтобы не дать нагреть руки какому-нибудь рекламному агентству, мы сами основываем новую фирму — чистой воды фикцию, — состоящую из кабинета, телефона, секретарши, которая должна отвечать на звонки, и управляющего, которому делать совершенно нечего!

— Не считая, конечно, рекламы для ваших фильмов?

— Вижу, ты разобралась в этом лучше, чем утверждаешь, — с улыбкой отозвался Адриен. (От глаз его разбежались морщинки — признак веселого нрава.) — Так вот, и этого он не должен делать! Потому что рекламой нам

все равно приходится заниматься на следующем этапе создания картины. В результате наши художники и оформители убивают одним выстрелом двух зайцев, а управляющему остается только подписывать чеки, счета и контракты, которые были бы, даже если бы его самого не было!

— И кто же будет этим счастливым управляющим?

— Еще не решили. Нам нужен человек честный, пусть не блестящий умом, но достаточно представительный, в возрасте...

— И прилично он будет зарабатывать?

— Господи, каких-то три-четыре тысячи в месяц — за такую работу это совсем не мало! Но в мире кино аппетиты у людей больше... Кроме того, честолюбец или жулик нашел бы здесь возможности для интриг и махинаций, которые сразу и не обнаружишь. Вот почему нам нужен человек надежный и притом не слишком самоуверенный, а такие, согласись, на дороге не валяются.

Марианна, уже несколько минут о чем-то размышлявшая, положила ладонь на руку Адриена.

— А может, Альбер Пупарден? — предложила она.

— Твой дядя? Но погоди... Во-первых, он служит.

— Да, за восемьсот пятьдесят франков в месяц.

— Знаю, но зато до пенсии! Я же ничего не могу ему обещать: эта фирма — просто фикция, как я тебе уже говорил, и рано или поздно...

— Он мог бы взять на это время отпуск.

— Да, конечно. Но как ты себе представляешь Альбера Пупардена на Елисейских полях?

— Бог ты м о й , — парировала Марианна, заметно уязвленная я , — я полагаю, он ничем не хуже многих ваших киношников!

— Хорошо, хорошо, дорогая, — пошел на попятный Адриен, обнимая ж е н у , — не будем обижать твоих родственников — ты же знаешь, как я их люблю.

— Вот тебе и представился случай оказать им услугу , — стояла на своем Марианна.

Вместо ответа Адриен тут же позвонил Пупарденам.

Выйдя от Адриена, господин Пупарден еле справился с искушением взять такси, так не терпелось ему поскорей добраться до дому: новая служба, четыре тысячи франков в месяц — ведь еще целых полчаса он никому не сможет рассказать об этой невероятной перемене. Надо скорей поделиться с Эммой, выложить ей все одним духом. Конечно, потом начнутся бесконечные сомнения, они станут взвешивать каждое сказанное Адриеном слово, подсчитывать, строить предположения, откладывая решение до завтра, перебрасываясь друг с дружкой одними и теми же аргументами, как циркачи, жонглирующие тремя мячиками на разные лады, — но вначале он должен с маху опорожнить свой мешок с добычей.

Потом ему пришло в голову, что впервые за пятнадцать лет (со дня поступления на службу в министерство) он принесет в дом настоящую новость. Поначалу он подробно описывал малейшие события, происшедшие за день в конторе, но кому они были интересны? Так что постепенно его рассказы сошли на нет, и он принялся сам спрашивать жену и дочь: «Что новенького?» Ведь это они где-то бывали, что-то видели, что-то знали, он же узнавал за день не больше нового, чем медведь в зоопарке. Зато уж сегодня он выступит в роли мужчины, главы семьи: он принесет новость, его будут слушать, расспрашивать: «Ну а он? Что он сказал? А ты что ответил?» До сих пор уверенный, что его ждут в жизни лишь три события: отставка начальника конторы, помолвка Элизы и кончина госпожи Пупарден, он сегодня придет домой, расpiraемый небывалой новостью... Четыре тысячи франков в месяц! В два раза больше, чем получает начальник! Вчетверо против его коллеги Вотрье!

Теперь ему уже расхотелось возвращаться домой. Какое прекрасное утро... Гляди-ка, на каштанах распускаются листочки! Автобусы пустые. В этот час там, в конторе,

переписывают карточки, а госпожа Пупарден, как всегда по утрам, хлопчет на кухне, ни о чем не подозревая. Он остановился перевести дух и прикрыл глаза. Какой-то прохожий оглянулся на ходу и посмотрел на него с любопытством. «Интересно, сколько этот тип зарабатывает в месяц?» — подумал господин Пупарден, глядя ему вслед. И начал развлекаться игрой — оценивать должность и жалование каждого проходившего мимо: редактор (900 франков) ждал на остановке трамвая, мимо пробежал коммивояжер (700 франков) и толкнул, не извинившись, внештатную служащую (650 франков). При виде важно восседающего в автомобиле директора (7000 франков) он несколько приуныл, но ненадолго: четыре тысячи — это вам тоже не что-нибудь! Четыре тысячи франков и звание управляющего или уполномоченного — точно он не запомнил. Он принялся вполголоса повторять это слово: «Уполномоченный... Уполномоченный... Уполномоченный...» То оно казалось ему совершенно новым, доселе не бывшим в употреблении: что это значит — исполненный мощи? Работающий в полную мощь? То вообще теряло всякий смысл, словно звуки какого-то чужого языка.

Внезапно он не на шутку всполошился: «А ведь придется менять привычки, опять осваивать дорогу, кабинет... И потом — каковы гарантии, а? Все это прекрасно — выманить меня из министерства, соблазнив астрономическим заработком, но нет ли за всем этим подвоха? Да полно, Адриен славный малый... — возразил он сам с е б е . — Я ничего не говорю, но у нас с ним разные взгляды на жизнь, и к тому же он молод, чересчур молод: у него нет никакого о п ы т а . — Под «опытом» он подразумевал « с т а ж » . — И вообще, кино — это... А что, кино — та же коммерция, не хуже прочих! Надо шагать в ногу с веком, черт побери! К тому же министерство я не брошу: выхлопочу себе отпуск по болезни сердца или просто уйду во временную отставку...» Точного термина он не знал, но ведь должен же существовать законный способ не появляться

в конторе месяца три, да еще, быть может, не потерять при этом жалованья, что даст ему в общей сложности 4850 — почти 5000 франков, пять тысяч франков в месяц!

Господин Пупарден ускорил шаг: ему вдруг одновременно захотелось есть, пить и пуститься бегом. Он зашел в кафе, потом в кондитерскую и истратил три франка из денег, которые жена ежемесячно выдавала ему на проезд в автобусе. Теперь роли переменятся! Теперь он будет выделять госпоже Пупарден деньги «на хозяйство», а остальную сумму хранить в своем черном бумажнике: ведь женщины не способны экономить! И в кафе за кружкой пива, и в кондитерской перед блюдом с эклером его так и подмывало во всеуслышание объявить дивную новость — совсем как в то утро, когда родилась Элиза...

Но потом, когда из ближайшего метро ему навстречу повалила толпа и он увидел все эти незнакомые замкнутые лица, его вновь охватил страх. Он подумал, что вскоре ему придется столкнуться с такими же, как эти, чужими людьми, запоминать их фамилии, по буквам выговаривать свою... У него, как тогда, в 1922 году, возникло ощущение, будто все прохожие — его конкуренты, а жизнь — изнурительная битва, и сердце у него зашло. Ему это не под силу, он хочет только покоя. Зачем Адриену понадобилось его тревожить? К чему это предложение, от которого он не сможет отказаться из-за своих домашних? Ну никогда не дадут поступить по собственному разумению! И все же Адриен — славный малый... Еще молодой, конечно... недостает опыта... И вообще, кино... А что? Шагать в ногу со временем... Господин Пупарден осознал, что мысли его начали путаться, и заторопился домой.

Поднимаясь по лестнице, он снова ощутил прилив сил и радости: он идет с новостью, он мужчина. Он так энергично захлопнул дверь, что на грохот прибежали обе женщины.

— Ну что?

— А т о , — веско произнес господин Пупарден, — что

мне предлагают место: пять тысяч франков...

— Пять тысяч!

Элиза зажмурилась; за краткий миг перед ней пронеслось все, что она теперь сможет себе позволить: голубое платье, собственные книги, абонемент на корт, сиамская кошка... Что до госпожи Пупарден, то ею овладела единственная мысль: наконец-то у нее будет служанка!

— ... Но я еще не решил, соглашаться мне или нет, — небрежным тоном закончил господин Пупарден.

— Альбер! — только и сказала госпожа Пупарден укоризненно, словно услышала непристойность.

Объяснение с начальником конторы было сплошным притворством. Дабы разжалобить его, господин Пупарден прибег к недозволенному приему: пришел небритым. Поначалу тот и правда подумал: «Бедняга Пуп, вот его и подстерегла старость».

— Помните, — говорил тем временем его подчиненный умирающим голосом, — в прошлый четверг я отпрашивался у вас к врачу? — В тот день он был у Адриена — каков хитрец!

— И что же он вам сказал?

— О, он был категоричен! Абсолютный покой... Месяца два самое меньшее...

— Ого!

— Что вы хотите: сердце... — Господин Пупарден поднес пухлую вялую руку к груди.

— Да, черт возьми, с этим не шутят!

Обмен репликами шел как по маслу, но мысленно собеседники вели куда более острый диалог:

«Хитрая бестия этот толстяк Пупарден: для пущего правдоподобия не стал бриться».

«Шеф как-то странно на меня смотрит. Неужели он мне не верит?»

«Да дам я ему эти два месяца! Хоть видеть его не буду. Он меня раздражает: ничем не интересуется, считает,

будто марки созданы только для конвертов... Но на что ему понадобился отпуск?»

«Надо было принести справку. Доктор Паран, наш сосед по лестничной клетке, выписал бы мне в два счета...»

«Он такой же больной, как я...»

И так далее. Десять минут спустя, после нескончаемых рукопожатий господин Пупарден покинул стены министерства. При прощании с сослуживцами со всей серьезностью был поднят вопрос о его замене. «Я буду работать за вас столько, сколько понадобится, Пупарден!» — заверил Вотрье, дружески потрепав его по плечу. «Спасибо, старина!» — ответил тот. И как они только удерживались от смеха, глядя друг другу в глаза? Господин Пупарден выскочил из конторы, как школьник навстречу каникулам.

Итак, решение было принято быстро — всего за четыре дня: «Тут ведь нет никакого риска». И потом, разве Адриен, сын тети Изабеллы, славившейся своей мудростью (за советом к ней хаживали все родственники), способен обмануть Пупарденов? Эмма придала делу принципиальный оборот: неужели Альбер может сомневаться в ее родне? «Да нет же, дорогая, конечно, н е т», — вяло отбивался Альбер. Однако внутренне он содрогался при мысли о том, что ему придется привыкать к новой обстановке, не имея при этом права отвыкать от старой, — ведь месяца через два, возможно... От этих переживаний он как-то даже проснулся часа в два ночи, чего с ним не случалось с 1915 года, когда германские полчища подступили к самому Парижу. А тут еще этот Адриен с его беспрестанными звонками: «Ну так как?» «Согласен, но пока только в принципе», — тянул время господин Пупарден.

— Этот увалень, твой дядя, — престранный субъект, — жаловался Адриен жене после очередного уклончивого ответа. — Должен же я знать, согласен он или нет!

— Дай ему еще денька два, — просила Марианна, догадывавшаяся о драматических переживаниях Пупардена.

После того как решение было наконец принято, чета

Пупарденов долго обсуждала предстоявшую встречу с начальником конторы. Когда и это было позади, в следующее же воскресенье состоялось посещение места будущей службы — в доме № 93 на Елисейских полях.

— Прекрасно, потолки высокие! — одобрила госпожа Пупарден, сохранившая это пристрастие со времен былой роскоши.

При виде кожаных кресел господина Пупардена, привыкшего к обивке из зеленого репса, обдало холодом. К тому же не было ни пенала, ни красной фланелевой тряпицы для чистки перьев, ни блюдец со скрепками и кнопками. «Ничего, привыкну», — смятенно подумал он.

— Стены-то у тебя совсем голые, Альбер. Что, если я дам тебе нашу гравюру Буше и план Страсбурга?

— Нет-нет, не надо! Мне наверняка придется развесить здесь диаграммы, афиши и фотографии киностудий.

— А - а . . . — разочарованно протянула Эмма.

От прежних, просторных квартир у нее осталось слишком много мебели, а еще больше — картин. Ими были увешаны все стены, а те, что не поместились, пришлось сложить в чуланчик возле кухни.

Господин Пупарден сказал «нет» инстинктивно. И отчасти — из чувства дисциплины: разве могла прийти кому-нибудь в голову идея развесить картинки у них в министерстве? И еще из самолюбия: это его кабинет, женщинам тут делать нечего. Да и вообще, зря он привел их туда, где вершат дела мужчины. Он поспешил выпроводить своих дам и, закрыв за ними свою дверь, щелкнул своим замком. Каждое его движение было одновременно мучительным и сладостным, как у выздоравливающего: он привыкал.

Проходя мимо привратничкой, он, внезапно осененный вдохновением, постучал в стеклянную дверь. Консьерж был в кругу семьи: четыре женщины в трауре, прямые как жерди, обступили пускающего слюни младенца.

— Я — мсье Пупарден...

Дальнейших слов его жена не услышала — дверь затво-

рилась, но ей было видно, как он расточает улыбки, гладит по головке ребенка.

— Посмотри, как любезничает твой отец, — беззлобно сказала она дочери.

Из глубины комнаты муж показал на своих дам консьержу, и они милостиво тому кивнули.

— Славный мальчик, — сказал, выходя, исполненный благодушия господин Пупарден. — Извини, но ты же понимаешь: я должен был...

По пути домой они обсуждали проблему транспорта. Удобнее всего было бы ездить в метро, но согласиться на это было выше сил господина Пупардена: «В метро — все равно как на почте: пришел и ушел, служащие на тебя ноль внимания, а в автобусе ты пассажир, клиент».

Остаток воскресенья прошел в подобных разговорах, и господин Пупарден долго не мог уснуть. Спустя час после того, как они потушили свет, жена сказала:

— Я вот о чем подумала, Альбер: теперь тебе не годится надевать черные нарукавники, так что ты будешь быстро протирать рукава.

— Да, — кротко согласился господин Пупарден, — зато я буду получать пять тысяч франков.

После этих слов воцарилось молчание: оба грезили.

— Мадемуазель, я мсье Пупарден, — обратился он к секретарше. — Мсье Адриен, должно быть, говорил вам...

— Конечно, мсье. Он скоро должен прийти.

— Прекрасно.

Новый управляющий направился было в свой кабинет, но подумал: «Если я не поставлю себя с самого начала, пиши пропало!» — и, обернувшись, тихо проговорил:

— У вас есть работа, мадемуазель?

Та удивленно взглянула на него.

— Ну конечно же, мсье, как всегда! — Тут зазвонил телефон. — Вы позволите? — спросила она, поднимая трубку.

Господин Пупарден поспешил удалиться в свой кабинет и утер пот со лба. Он проверил ящики стола — все они оказались пустыми, и это повергло его в уныние. «Вызвать рассыльного или побеспокоиться самому? Если я ему позвоню, он сочтет, что для человека, которому нечего делать, я слишком спешив, — ведь у меня действительно нет работы, это очевидно! Да, но у него, наверно, тоже, а поскольку считается, что он не знает... Для всех тут я уполномоченный. Уполномоченный не ходит к рассыльному, который получает от силы франков семьсот! С другой стороны...»

После мучительных раздумий он — будь что будет! — позвонил, словно прыгнул с парашютом. Тотчас пожалев об этом, он встретил вошедшего рассыльного преувеличенно любезно. Рассыльный принес ему бумагу всяких сортов, кучу обложек и папок. Господин Пупарден тщательно все это рассортировал и предусмотрительно надписал на четырех папках разного цвета: «Текущие дела», «На прочтение», «На подпись» и «Для ответа». За этим занятием он просидел до десяти часов. За дверью беспрестанно звонил телефон, и господин Пупарден всякий раз вздрагивал при мысли, что его могут попросить взять трубку, — в ответах секретарши он ровным счетом ничего не понимал.

«Странно, что Адриена до сих пор нет!» — подумал он и произнес про себя филиппику всему молодому поколению.

Поскольку на календаре было уже семнадцатое число, он решил подсчитать, сколько получит в конце месяца. Он был так взволнован огромностью суммы, что ему никак не давалось самое элементарное уравнение. Мысль о том, что в министерстве ему будет тоже набегать жалованье, привела его в отличное расположение духа. Листок с подсчетами он изорвал в мелкие клочки — из опасения быть неверно понятым. В соседней комнате негромко разговаривали две секретарши. «Это они обо мне!» — похолодев, подумал он и не смог удержаться от искушения подкрасться к двери и подслушать их болтовню: злословили, как

выяснилось, не о нем, а о третьей секретарше, но жестокость их суждений потрясла его. «Куда же запропастился Адриен? Нехорошо обращаться так с человеком моего возраста, а тем более с дядей». В сердцах он даже позабыл о пяти тысячах франков. Но тут же вспомнил о них и устыдился своей неблагодарности.

Четверть двенадцатого. Господин Пупарден не решался даже подойти к окну, опасаясь, как бы его не застиг Адриен. Изнывая от скуки, он уже собрался было вызвать рассыльного — поболтать с ним о том о сем, — но вовремя одумался: это было бы серьезным промахом. Тогда он предался откровенному ничегонеделанию, как в министерстве, и время потекло быстрее. Его радовала мысль, что за десять минут до полудня начнется всеобщая суета, предшествующая уходу на обед, и ему тоже можно будет собираться. Но нет! За дверью по-прежнему отвечали на телефонные звонки и строчили на машинке. Он расстроился: «Не могу же я уйти первым!»

Наконец в двадцать минут первого секретарша провозгласила: «Ну все, хватит!» — и не стала снимать трубку надрывавшегося телефона. Из передней донеслись веселые восклицания, несколько раз подряд хлопнула входная дверь, и воцарилась тишина. Господин Пупарден неторопливо оделся, как привык это делать ежедневно, но вдруг подумал: «А если как раз сейчас зайвится Адриен? Может, лучше его подождать?» И затосковал по министерству с его восемьюстами пятьюдесятью франками.

Чтобы убить время, он двинулся в обход обезлюдевших помещений. Все эти папки с бумагами, незаконченные письма, колонки цифр привели его в отчаяние. «Никогда мне всего этого не охватить, — тоскливо подумал он. — А ведь я, как уполномоченный, несу ответственность...» На пустой желудок у него разыгралось воображение: ему представилось, как его обвиняют в некомпетентном руководстве, а то и в злоупотреблении служебным положением, и вот уже он, бессильный оправдаться, — на скамье

подсудимых, совсем как те, чьи фотографии в рубрике происшествий он разглядывал пять раз в день в ту безмятежную пору, когда прочитывал по пять газет ежедневно, когда уходил на обед без двух минут двенадцать и когда плевать мог на Адриена — пусть себе ставит все фильмы на свете и огребает сотни тысяч.

Двенадцать сорок пять. А что, если Адриен преспокойно обедает у себя дома, как все нормальные люди, как все парижане в этот час, кроме него, Пупардена? Ну уж это было бы чересчур! На него нахлынуло чувство, близкое к ярости, и, бросившись к телефону, он (который до сих пор никогда никому не звонил, не обдумав заранее предстоявший разговор) набрал номер Адриена. Трубку подняла жена племянника, Марианна:

— Дядя Альбер, какой приятный сюрприз!.. Нет-нет, Адриен никогда не приходит домой раньше четверти второго... И не вздумайте его ждать!.. Он сказал, что зайдет?.. Понятно, но вы же знаете, как иногда бывает! Я его отругаю!.. Нет-нет, не защищайте его, все равно отругаю... Непременно! Всего наилучшего тете Эмме и Элизе!

Господин Пупарден положил трубку, успокоенный и слегка пристыженный: «Бедняга Адриен, он столько работает, обедает каждый день так невыносимо поздно... Вот человек, который не даром ест свой хлеб! Он не смог зайти до обеда? Ну так что из того? У него другие дела — хлопот полон рот, черт возьми!»

Теперь пустые кабинеты казались ему покорными, вовсе не страшными: в этот час только его присутствие их оживляло. Он обходил их неспешно, с доброй улыбкой: то ласково проведет рукой по ящичку картотеки, то бросит дружелюбный взгляд на таблицы. Он выравнивал стулья, поправлял чехлы на машинках. Дверь из своего кабинета в приемную, где сидели секретарши, он оставил открытой, как бы давая комнатам возможность ближе познакомиться друг с дружкой. И только зазвонивший в углу телефон обратил его в бегство.

Поднимаясь по лестнице в свою квартиру, он представил себе, как жена и дочь спросят у него: «Ну что?» — и это заранее вызвало у него раздражение. И когда дамы Пупарден в один голос встретили его именно этим вопросом, он едва не расвирепел:

— А ничего! В самом деле — ничего! Что вы, собственно, ожидали услышать? Я знакомился с людьми... Устраивался, огляделся немного... Вот и все!

— Но Адриен хоть представил тебя сотрудникам?

— Адриен? Да у него хлопок полон рот! Сама посуди: он до сих пор еще не обедал!

— Ты тоже, — кротко заметила госпожа Пупарден и вопросов больше не задавала.

За столом господин Пупарден расслабился и описал прошедшее утро таким, каким бы сам желал его видеть, вдохновляясь с каждой минутой, непомерно раздувая каждую мелочь, рисуя все в розовых красках.

Тем не менее, когда Элиза оставила их наедине, госпожа Пупарден положила ему руку на плечо и промолвила:

— Бедный мой Альбер...

Тогда он честно и со всеми подробностями рассказал ей, как невыносимо тоскливо тянулись эти часы.

Сразу же после обеда в бюро появился Адриен и рассыпался перед господином Пупарденом в извинениях. Было совершенно очевидно, что Марианна сказала ему нечто вроде: «Ты не очень хорошо поступил по отношению к дяде Альберу: поставь-ка себя на его место!» Но господину Пупардену это, конечно, и в голову не пришло.

— Дядя Альбер, сейчас я представлю вас основным сотрудником.

— Зовите меня просто Альбером, — попросил господин Пупарден, — так будет проще...

В действительности же он не хотел давать пищу оскорбительным слухам о том, будто своим назначением на эту высокую должность он обязан одному лишь родству с шефом.

Знакомя его с персоналом, Адриен всякий раз не забывал пояснить: «Это мсье Пупарден, управляющий нашей маленькой рекламной фирмой, — он будет главным образом обеспечивать нам контакты в официальных кругах». Управляющий чувствовал себя скорее обеспокоенным, нежели польщенным этой перспективой.

— Что это за... м-м... контакты в официальных кругах? — при первой же возможности спросил он, стараясь говорить небрежным тоном.

— Видите ли, — помявшись, ответил Адриен, — моим сотрудникам известно, что ваши обязанности управляющего... э-э... не слишком обременительны, и я хотел придать вам вес...

— Ах вот как, — кивнул господин Пупарден, которого подобное объяснение не только не смутило, а, наоборот, успокоило. — Кстати, не могли бы вы еще разок уточнить, в чем состоят мои функции управляющего?

Адриен объяснил, что к чему, уже, наверно, в пятый раз, но господин Пупарден по-прежнему ничего не понял.

— Отлично, отлично, — сказал он (и подумал: «Спрошу у него еще как-нибудь попозже»). — Ну а конкретно?

— Конкретно? — повторил Адриен улыбаясь. — Подписывать кое-какие бумаги, вот и все. Кстати, вот и первые из них... Ну а теперь не буду вам мешать.

Вошедшая секретарша принесла стопку писем и счетов. Господин Пупарден пришел в отчаяние: «Если я подпишу не вникая, я никогда не войду в курс дела и меня будут упрекать в верхоглядстве. А если потрачу много времени на изучение этих бумаг, то прослышу тугодумом...»

В конце концов он отпустил себе столько времени, чтобы если не понять, то хоть прочитать их.

Прошло два дня пребывания господина Пупардена на посту управляющего, и за все это время реальная работа заняла у него не более десяти минут. На третий день утром в его кабинет стремительно вошел Адриен.

— Как, дядюшка, вы здесь, в этукую рань! Но почему?

Сходили бы лучше прогулялись. Прошу вас, гуляйте сколько вам будет угодно!

Господин Пупарден так ошеломленно уставился на Адриена, лицо его выразило такую растерянность, что Адриен тотчас осознал, какую он допустил бестактность.

— Я хотел сказать... — Он замялся. — С утра вам не мешало бы отдохнуть, потому что во второй половине дня вы мне будете очень нужны.

— О, я к вашим услугам! — просветлев, воскликнул господин Пупарден.

Он позволил себе покинуть бюро без четверти двенадцать, не преминув пояснить секретарше, затем рассыльному:

— Мне нужно будет пораньше прийти с обеда: нас с мсье Адриеном ждет важная работа.

В эту самую минуту его племянник ломал себе голову над тем, какое бы дело изобрести для дяди, чтобы оправдать по неосторожности вылетевшие слова. В конце концов он решил извлечь из архива давно сведенный баланс минувшего года и поручить дяде перепроверить его.

— У меня возникли кое-какие сомнения касательно финансовых операций фирмы. Не могли бы вы — это, разумеется, строго конфиденциально — посмотреть расчеты тщательнее? Полагаюсь на вашу скромность: такое я могу доверить только родственнику... — И далее в том же духе.

Понизив голос, господин Пупарден дал необходимые заверения, потом заперся на ключ. Счета были чисты, как родниковая вода в хрустальном бокале. Тем не менее после многодневных трудов он обнаружил ошибки в подсчетах, которые на самом деле были плодом его обычной рассеянности и усталости от кропотливой возни с цифрами. Обеспокоенный, Адриен счел своим долгом повторить расчеты и затратил немало времени, прежде чем убедился, что тревога оказалась ложной.

Тогда он усадил дядю сочинять «проекты писем». Господин Пупарден принялся кропать их дюжинами, на все случаи жизни. Адриен играл школьного учителя.

— Дорогой Альбер, — говорил он, — не могли бы вы составить мне проект докладной записки министру внутренних дел с обоснованием полезности документального кино?

С таким же успехом он мог бы поручить дяде набросать черновик письма Теофиля Готье одному из друзей в провинцию с описанием премьеры «Эрнани» \*.

Господин Пупарден из кожи вон лез, по десять раз переписывая письмо, которому не суждено было попасть в конверт. Видя его усердие, Адриен всячески поощрял его, и тот, в первых «проектах» писавший приблизительно так: «На ваш исходящий от 8-го числа истекшего месяца...», мало-помалу, гордый похвалой, стал отваживаться на язвительные поучения и колкие замечания. Когда к письму прокурору республики господин Пупарден поставил эпиграфом: «Не судите, да не судимы будете», Адриен решил, что эксперимент чересчур затянулся. Тем более что послания, выходявшие из-под пера управляющего, разрастались теперь на пять-шесть страниц, и племяннику приходилось тратить уйму времени на их прочтение.

Тогда Адриен доверил дяде сравнительный анализ статей в кинематографической прессе, и господин Пупарден, взявшись за это со всем пылом, начал представлять ему такие отчеты, каких не знавала ни одна кинокомпания в мире: «Госпожа Грета Гарбо была названа «божественной» тремя журналами из девяти, «волшебной» двумя другими и набрала на этой неделе в общей сложности 118 строк против 183 на прошлой». И дальше в том же духе.

По пути на службу и обратно господин Пупарден проезжал мимо семи кинотеатров и на зубок знал их репертуар. Из окна автобуса он жадно рассматривал рекламу картин на их фасадах, готовый, как ребенок, забраться на сиденье с ногами. Дома он разглагольствовал о кинофиль-

\* «Эрнани» — драма В. Гюго, на премьере которой в Театр-Франсэ 25 февраля 1830 года между приверженцами классицизма и романтизма вспыхнула потасовка. (Здесь и далее — примечания переводчиков.)

мах, выдавая высказывания кинокритиков, почерпнутые им из газет, за собственные суждения и добавляя со скромной гордостью: «Кино — это целый мир, совсем особый! Чтобы знать его, надо в нем жить...» В конце месяца он вручил госпоже Пупарден несколько тысячных ассигнаций и повел своих дам в ресторан.

Однажды утром Адриен вошел к нему в кабинет с рулоном афиш, кипой брошюр и рекламных буклетов.

— Ну как, дядя Альбер, довольны вы своей продукцией?

Он разложил перед господином Пупарденом красочные афиши, перелистал брошюры, развернул искусно выполненные проспекты.

— Это моя продукция?

— Ну да, дорогой мой управляющий! Письма, чеки, счета, которые вы подписывали, — вот чем все это обернулось!

— Вы оставите мне это, Адриен?

Никогда еще ему не доводилось видеть афиши так близко. Он принялся любовно их рассматривать, дивясь многообразию цветов, спрашивая себя, каким образом удалось нарисовать, написать, отпечатать все это в таких огромных размерах. Он развесил афиши на стенах и стал созерцать их вблизи и издали, стоя на месте и прохаживаясь по кабинету, при дневном освещении и — когда закрыл шторы — при электрическом. Он по одной вызывал к себе секретарш и запоминал все их высказывания.

— Это я, — твердил он с е б е , — я сделал это, все задумал и осуществил. И сотни тысяч людей увидят эти афиши, останятся перед ними!

Несколько штук он унес домой: «Дорогая, вот моя продукция!» — и настоял на том, чтобы развесить их на стенах прихожей, где незадолго до этого уже появились кадры из фильмов.

Вскоре афиши были расклеены по городу, и господин Пупарден начал ходить на службу пешком, чтобы видеть поближе рекламные щиты. Он останавливался перед ними,

замирая от восхищения, и бывал счастлив, если кто-нибудь из прохожих следовал его примеру. Тогда он довольно громко бормотал: «Вот это да! Ну и красотища!» — исподтишка поглядывая на стоявшего рядом, чтобы оценить его реакцию. Потом он стал ездить в метро — когда узнал, что на подземных станциях вывешены его афиши еще более крупного формата. Заметив порванную, он звонил в агентство, чтобы ее заменили, и голос его при этом был таким же встревоженным, как много лет назад, когда он вызывал врача к заболевшей маленькой Элизе. Как-то раз он увидел мальчишку, мелом малевавшего на одной из его афиш непристойный рисунок. Он пригрозил позвать полицейского; мальчишка удрал, а господин Пупарден стер рисунок собственным носовым платком.

Однажды он спросил у Адриена, нельзя ли будет отпечатать на следующей партии афиш — о, это, конечно, ребячество, но все же . . . — где-нибудь в уголке маленькую («Что он обо мне подумает?»), совсем крошечную букву «П» — нечто вроде подписи. Разумеется, нет и речи о том, чтобы напечатать полностью: «Пупарден». Но малюсенькое «П» — неужели никак нельзя?

Сдерживая смех, Адриен ответил:

— Но, дядюшка, у вас уже есть свой знак, своя подпись, вот она — «Синопкино»...

И в самом деле, на каждой афише, в правом нижнем углу, был оттиснут маленький фирменный знак, своего рода герб: молния, звездочка и коринфская капитель, а под этим — упомянутое загадочное сокращение. И хотя господин Пупарден предпочел бы букву «П», он любил и этот маленький герб. Он мог рисовать его часами, и дело дошло до того, что он отдал граверу свой перстень с печаткой — заменить этим знаком вензель «АП», красовавшийся там со дня женитьбы.

Адриен не замедлил использовать новое дядино увлечение, отправляя к нему на прием бесталанных оформителей, предлагавших свои услуги. Господину Пупардену было стро-

жайше предписано отвергать их предложения. Однако он беседовал с ними часами, давал им советы, напускал на себя вначале важность, а под конец сердечность, и художники уходили, очарованные новым управляющим.

По воскресеньям, гуляя с госпожой Пупарден, он останавливался у каждой афиши и подвергал ее подробному критическому разбору, используя недавно усвоенные термины: «Вон там графика неплоха. Цветовая гамма вполне удовлетворительна, но вот шрифт подкачал». И так далее.

На беду, господин Пупарден взял под свое покровительство несколько оформителей — из числа самых бездарных — и предложил, потом порекомендовал, попросил и, наконец, стал уговаривать Адриена доверить им какой-нибудь заказ. «Я, кажется, потерял бдительность», — подумал молодой человек и переориентировал дядюшку на участие в просмотрах.

Теперь каждое утро господин Пупарден присутствовал при показе очередной новинки — в обществе газетчиков, режиссеров и актеров. Когда у него спрашивали приглашительный билет, он торжественно провозглашал: «Синопкино!»

— А, афиши! — любезно откликнулся как-то один из контролеров. — Поздравляю, мсье, отличная фирма!

Эта похвала на протяжении многих дней служила пищей для разговоров в доме Пупарденов. Постепенно господин Пупарден примелькался на просмотрах. В одном из кинематографических журналов появился даже шарж на него — правда, среди десятка других силуэтов и к тому же на заднем плане, но ведь это был точно он: «Во-он там, разве вы не узнаете?» Развернутый на нужной странице, журнал долгое время лежал на столике в гостиной. Госпожа Пупарден, вновь начавшая приглашать «на чашку чая» по вторникам, с гордостью демонстрировала ее приятельницам; те разглядывали карикатуру с завистью и ахали на все лады.

Поскольку дела фирмы процветали, Адриен повысил господину Пупардену оклад до шести тысяч франков. Тот

решил не сообщать об этом супруге — во всяком случае, не в этом месяце. Он заказал себе костюм — точно такой же, в каком снялся в своей последней картине знаменитый Ремю \*. Госпожа Пупарден была в ужасе, но покорно сопровождала супруга на примерки. Тот обычно задерживался, чтобы шепнуть портному: «Сделайте сзади разрез» или: «Не забудьте кармашек для часов на пиджаке!»

— Знаки отличия будут? — равнодушно осведомился мастер накануне выдачи заказа.

— Э-э... ни в коем случае! — отозвался господин Пупарден тоном, каким отвечают официанту, предложившему к рыбе красного вина.

В счете значилось всего 800 франков — четыре сотни господин Пупарден заплатил портному авансом без ведома жены. Успокоенная, та принялась усиленно рекомендовать мастера знакомым.

— Правда, фасоны у него чересчур современные, — говорила о н а . — Понимаете, он шьет в основном для деятелей кино.

Спустя некоторое время ей кислым тоном начали пенять:

— Дорогая, но ведь ваш портной берет за костюм тысячу двести франков — это гораздо больше, чем вы говорили!

Подвергнутый допросу с пристрастием, господин Пупарден объяснил, что ему портной сделал, мол, скидку. Это еще выше подняло его авторитет в глазах жены, но мало-помалу он запутался в мелком вранье, которое хоть и давало ему в руки две тысячи франков, но требовало величайшего внимания.

Упоминанием о наградах портной разбередил господину Пупардену душу, и он спросил у племянника, не учрежден ли специальный орден для работников кинопромышленности.

— Пока еще н е т , — со смехом ответил тот, но, увидев, как вытянулось от разочарования дядино лицо, доба-

\* Ремю — псевдоним популярного французского комического киноактера Жюля Мюрера (1883—1946).

вил: — Впрочем, попробую устроить вам орден Почетного легиона, если вас это забавляет.

«Забавляет! Для этой молодежи нет ничего святого!» — подумал господин Пупарден, но ему важно было одно: он достоин «креста». В тот же вечер он небрежно бросил жене:

— Похоже, наверху подумывают представить меня к «кресту».

— К кресту?

— К ордену Почетного легиона.

— Почетного... Великий боже, Альбер, быстро же ты идешь в гору! — воскликнула она с гордостью и бросилась обзванивать знакомых, которые отныне стали обращаться к господину Пупардену не иначе как с многозначительной улыбкой или подмигиванием: «Ну что, вас уже можно поздравить?» — словно он вот-вот должен был разрешиться от бремени.

— Дядя Альбер, если у вас нет занятия поинтересней, приглашаю вас поехать со мной в студию.

— В студию? — переспросил господин Пупарден и надел шляпу: с первыми лучами весеннего солнца он отказался от пальто, чтобы выглядеть истинно «по-елисейски». — Я в вашем распоряжении!

Пока они ехали в машине, он воспользовался случаем, чтобы небрежным тоном расспросить Адриена о структуре своей фирмы и о конкретных обязанностях управляющего. Племянник терпеливо разъяснил ему все в очередной раз, и в очередной раз господин Пупарден ровным счетом ничего не понял. «В конце концов, — сказал он себе, — хватит и того, что я вообще участвую в его махинациях! Раз все идет без сучка без задоринки...» И он решил никогда больше об этом не заговаривать.

В студии царил суета, как в большом муравейнике: снималась сцена приема у Талейрана. С появлением Адриена вмиг воцарились тишина и спокойствие. «Вот что значит

хозяин», — с гордостью подумал господин Пупарден: в эту минуту в нем говорили родственные чувства.

— Господа, — представил его Адриен, когда их обступили, — не знаю, знакомы ли вы с мсье Пупарденом — он заведует рекламой наших фильмов...

Присутствовавшие воззрились на Альбера с уважением и боязливым трепетом, которые обычно испытывают перед истинным профессионалом. Самому господину Пупардену было слишком хорошо знакомо это двойственное чувство, чтобы он не прочел его в обращенных на него взглядах, и он слишком много от него страдал, чтобы не почувствовать себя польщенным — скорее боязнию, нежели уважением. За несколько недель он настолько понаторел в искусстве пускать пыль в глаза, что и теперь принялся расхаживать по студии со скучающим видом человека, который изучил тут все до тонкости (хотя на самом деле все это было ему в диковинку), и только сев с Адриеном в машину, попросил его разъяснить, что к чему.

Этот день стал поворотным в жизни господина Пупардена. Студия явила его глазам полную противоположность всему, что он знал и чем восхищался до сих пор: то был первозданный хаос, чудовищное смешение рая и ада. Отныне распорядок его был таков: утром он был на просмотре фильмов, потом приходил в свой кабинет, где его подписи дожидались несколько бумаг, после обеда шел на студию и только к концу дня еще разок забегал в кабинет, чтобы поставить подпись.

Одной рекомендации Адриена было бы еще недостаточно, чтобы утвердить его авторитет, однако с тех пор, как он начал работать с афишами, господин Пупарден твердо уяснил себе, что единственный способ сойти за важную персону — это кривить губы, никогда не выражать чрезмерного восторга и в общении с людьми искусства не столько хвалить их самих, сколько хулить их сотоварищей. Все эти приемы давались ему не без труда: добряку не так-то просто притворяться привередой.

В студии он пускал в ход смесь высокомерия и панибратства, которые дозировал сообразно рангу собеседника: для постановщика или кинозвезды он был «мсье Пупарден», с электриком или статистом старался держаться как «старина Пуп».

Вскоре и те и другие решили, что он нечто вроде «серого кардинала» при Адриене и что с его помощью можно добиться ангажемента и прочих благ. Многочисленные просьбы господин Пупарден с важным видом записывал на листках бумаги, которые, выйдя на улицу, рвал на клочки и пускал по ветру. Контракты и повышения следовали своим чередом, и получившие свое ни секунды не сомневались, что они обязаны этим господину Пупардену; остальные же, воочию убедившись в его всемогуществе, заискивали перед ним с удвоенным усердием.

Режиссеры и продюсеры спрашивали у него совета, однако господин Пупарден упорно воздерживался от конкретных суждений. За последние месяцы он в полной мере овладел искусством многозначительно покачивать головой, кривить губы, прищелкивать языком — короче, всем арсеналом красноречивого молчания. Немногословие его сходило за мудрость, медлительность — за вдумчивость, а почтенный возраст служил свидетельством опытности.

Для всех на студии господин Пупарден сделался чем-то вроде талисмана; он же возомнил себя советником, да таким незаменимым, что однажды, когда Адриен попросил его сразу после обеда зайти в бюро, он ответил:

— Это невозможно: меня ждут на студии.

На Елисейских полях господин Пупарден каждый день встречал то статистов, то неудачливых актрис, жаждущих ангажемента, и те приветствовали его с бурной радостью. Он вышагивал в компании девиц с обесцвеченными волосами, чьи лица были подкрашены под тогдашних звезд, в сопровождении плохо выбритых молодых людей, одетых в бежевые пальто или клетчатые костюмы, с повязанными на шею платками кричащей расцветки, подчеркивавшими их длин-

ные патлы. Ему подносили стаканчик-другой у Фуке. Он ничего никому не обещал, только делал пометки: «Я поговорю об этом с Адриеном».

Одна дебютантка, получившая роль, естественно без какого бы то ни было содействия господина Пупардена, пришла к нему в кабинет с изъявлениями благодарности и с предложениями, вогнавшими его в краску. Он ограничился отеческим поцелуем, но вспоминал об этой истории с удовольствием, и с тех пор в его тоне при обращении к жене появилась снисходительность, а к Адриену — чрезмерная самоуверенность, что раздражало обоих.

Он накопил себе самых невероятных галстуков и сменил скромную оправу своих очков на модель, которая называлась «булава», — от нее болел нос и уставали уши. Однажды на автобусной остановке к нему обратился какой-то актеришка:

— Как, Пуп, у вас нет машины?

— Я... я оставляю ее же не , — ловко вывернулся господин Пупарден.

Это была его первая крупная ложь, и подобная находчивость несколько озадачила даже его самого. В автобус он теперь вскакивал, как юнец, в последнюю секунду, почти на ходу. Газету свертывал в трубку и носил под мышкой, как герои американских картин, а ассигнации запихивал в карман, немилосердно комкая. Еще он купил себе мягкую белую шляпу с узкими полями.

Минуло полгода с тех пор, как господин Пупарден начал служить на новом месте. Уже трижды продлевал он свой отпуск в министерстве. Отправляясь туда, он облачался в старый костюм, повязывал свой давнишний галстук и надевал черную шляпу, которую носил прежде. Садиться в автобус, проделывать привычный некогда путь и входить в унылый дворик ему было противно, как в детстве, когда он возвращался в школу после каникул. Перед начальником он изобразил упадок сил и духа:

— Увы, я чувствую себя все так же скверно... Надеюсь, месяца через два... Так скучаю по работе, что из рук все валится...

Во второй раз он, как заправский актер, сыграл роль сердечника — разве что не загримировался. «Какая постыдная комедия!» — подумалось ему тогда.

На третий раз он отправил вместо себя госпожу Пупарден.

— Ну, что тебе ответил начальник?

— Не знаю, что и сказать: похоже, он не верит в твою болезнь...

— Как это не верит! — искренне вознегодовал господин Пупарден. — Но ведь ты объяснила ему, что я в постели, что сам я не могу...

— Да. Но он как-то странно посмотрел на меня и ответил: «В самом деле? Бедняга Пупарден! Передайте ему, когда увидите...»

— Что значит «когда увидите»?

— «Когда увидите», так он и сказал.

«Какое ехидство, какое недоверие!» — разнервничался господин Пупарден. А впрочем, какое это имеет значение? Подумаешь, министерство! Ноги его там больше не будет!

— Кто знает? — вздохнула госпожа Пупарден.

Как, с его-то положением в кино? К тому же Адриен, по всей видимости, скоро опять повысит ему жалованье. И тогда они смогут переехать: перебраться поближе к Елисейским полям, так будет гораздо удобнее и вообще...

— Нет, Альбер, только не э т о , — решительно воспротивилась Эмма.

Его предложение возмутило ее: подумать только, оставить Плен-Монсо! И ради чего? Ради какого-то полудикого района, где не так давно ее дед убил своего первого зайца! Нет, ни за что!

Господин Пупарден истолковал реакцию супруги по-своему: «Она боится переезда из-за лишних расходов; попрошу-ка я у Адриена прибавки». Что он и сделал.

Эта просьба вызвала у племянника раздражение. «Дорогой дядя, к сожалению, не я один решаю подобные вопросы, а мои компаньоны наверняка на это не пойдут», — ответил он, отказав наотрез.

— Твой дядюшка начинает мне надоедать, — сказал он же не е. — К тому же, боюсь... В конце концов, я предупреждал его, что эта синекура — чисто временная.

Три дня спустя он вызвал господина Пупардена к себе в кабинет.

— Вы не читали этого, дядя Альбер?

И протянул тому газету со статьей о новом статусе акционерных обществ, которую бедняга добросовестно прочел, не поняв в ней ни слова.

— Я в отчаянии, — сказал Адриен, когда тот закончил чтение.

— В отчаянии? Но почему? — жизнерадостно осведомился дядя.

— Разве вы не видите, что эти новые правила вынуждают нас ликвидировать «Синопкино»?

— Какая жалость! — воскликнул господин Пупарден, полагая, что речь идет о симпатичном маленьком гербе. — Это, право, досадно.

— В общем, — в замешательстве закончил Адриен, — хорошо, что вы не ушли окончательно из министерства.

— То есть... Как же это, я... Вы хотите сказать, моя должность...

— Но поймите, дорогой дядя, раз не будет больше фирмы, не нужен и управляющий!

От унижения и гнева господин Пупарден побелел.

— Я думал... Я считал, что уж мне-то вы подыщете место, учитывая...

— Увы, дядюшка, моим компаньонам вы не родственник, и у них нет никаких причин...

— Я имел в виду вовсе не э т о, — перебил его господин Пупарден. — Я полагал, что, учитывая мои заслуги...

Адриен не верил своим ушам. На какое-то время он ли-

шился дара речи и наконец выдавил из себя:

— Конечно, конечно, но я... то есть мои компаньоны имеют возможность оставить лишь технический персонал рекламной фирмы, понимаете? Исключительно специалистов.

— Ну что же , — поджав губы, заключил господин Пупарден, — я рад, что смог оказаться вам полезным эти полгода!

С этими словами он удалился. Адриен не знал, смеяться ему или негодовать, и выбрал среднее: он саркастически рассмеялся.

Господин Пупарден шагал по Елисейским полям и делился горькой вестью со своими приятелями: актеришками, статистами и несостоявшимися режиссерами.

— Бедняга Пуп! — восклицали те . — А... кто будет вместо вас?

Только один спросил у него:

— В какую же фирму вы собираетесь пойти теперь?

— Еще не з н а ю , — захваченный врасплох, ответил господин Пупарден и машинально добавил: — Во всяком случае, они еще услышат обо мне!

Двадцатому по счету, который стал с тревогой допытываться: «А кто же вас заменит?» — готовясь запомнить имя нового фаворита, озлобленный господин Пупарден гордо бросил: «Пупардена никем не заменишь!» — и вскочил в автобус, растолкав людей и даже не подумав перед ними извиниться. Он так шумно сопел, что попутчики удивленно поглядывали на него. Время от времени он качал головой, пожимал плечами, бормотал: «Мерзавцы!» — и не заметил, как проехал свою остановку.

— Что ж теперь? — спросила госпожа Пупарден после того, как он в третий раз пересказал ей утреннюю сцену в б ю р о . — Что ты будешь теперь делать?

— Я... пойду служить к его конкурентам, — выпалил он , — и покажу, на что я способен!

— Альбер, ты не сделаешь этого!

— Буду я еще с ним церемониться!

— Адриен — мой племянник! — отчеканила она с вызовом.

— Ах да, верно, — будто нехотя, а на самом деле с облегчением отступил он. — Есть вещи, недопустимые между родственниками.

Обняв его, госпожа Пупарден заплакала, и он слегка устыдился своего позерства.

— Но тогда что же делать? — спросил он, тяжело опускаясь на стул.

— Может, вернешься... в министерство? — робко подсказала госпожа Пупарден.

Он был признателен ей за то, что она избавила его от необходимости сказать это самому.

— Но люди! Что мы скажем людям?

Целых полгода им можно было не оглядываться на людей, и вот теперь снова... Деньги уходят — люди возвращаются.

— Скажем, что все это для тебя недостаточно серьезно, — предложила госпожа Пупарден, словно напоминая ему его собственные слова.

— Нет, лучше — что я поставил дело на рельсы и теперь могу со спокойной совестью...

— Да, такая жизнь чересчур утомительна для человека твоего возраста — это я и хотела сказать, — подхватила госпожа Пупарден, — это непосильная нагрузка на сердце.

— Опять сердце... — невесело улыбаясь, произнес ее супруг. — Но в таком случае что мы скажем, когда я вернусь в министерство?

— Просто-напросто — что ты еще не в том возрасте, чтобы сидеть без дела.

— Или, может, — не без стыда предложил он, — что начальник в порядке личного одолжения попросил меня вернуться, чтобы помочь ему навести порядок в конторе. Да, это, пожалуй, вполне приемлемо. Ну а что касается Адриена...

Он снова готов был вскипеть.

— Что касается Адриена, — мягким, но не допускающим возражений тоном заявила Эмма Пупарден, — то его мы на днях пригласим на обед, чтобы показать... И смотри, как все удачно сложилось, — перебила она сама себя с наигранной бодростью, — я как раз очень недовольна нашей служанкой и собиралась ее рассчитать!

Смысл ее слов дошел до господина Пупардена не сразу, но потом он понурил голову: пока в нем бушевало уязвленное самолюбие, он совсем забыл, что потерял шесть тысяч франков...

Господин Пупарден дал знать в контору, что выйдет на службу в понедельник. В это утро он пришел с опозданием, так как машинально надел свой шикарный костюм и ему пришлось переодеваться. В автобусе старые его привычки вступили в борьбу с новыми: он впрыгнул на ходу, но ноги сами понесли его к привычному месту; он достал платок, но тут же стал высматривать в окне кинотеатры. Подходя к министерству, он все еще был полон снисходительности к своим убогим сослуживцам.

— Добрый день, мсье Эмиль!

Рассыльный поднял глаза от газеты:

— А, это вы, мсье Пупарден...

И вновь погрузился в чтение. Господина Пупардена это озадачило: «Можно подумать, мы виделись с ним только вчера!»

Такой же прием он встретил у господина Вотрье, своего коллеги, и у мадемуазель Терезы, секретарши. «Они настолько закоснели в рутине, что даже время для них остановилось...» «Как поживаете?» — спросили его, и он необдуманно ответил: «Прекрасно!» — забыв про сердце и про отпуск по болезни.

Начальник, пожимая ему руку, бросил на него странный взгляд. Господин Пупарден долго устраивался, копался в ящиках стола; его коллега хмурился, а мадемуазель Тереза

молча испепеляла его взглядом, как будто он раскашлялся во время концерта.

Господин Пупарден нашел контору чересчур мрачной.

— Раньше я как-то не замечал, что здесь так уныло, — доверительно сообщил он господину В о т р ь е . — Надо будет принести хоть парочку фотографий...

— Может, афиш? — предложил тот лукаво.

— А что, неплохая и д е я , — радостно оживился господин Пупарден.

Спустя некоторое время он вдруг надумал продиктовать секретарше письмо. Мадемуазель Тереза возмущенно фыркнула. Затем ему пришло в голову, что жена ждет его к обеду, как прежде, не раньше часу д н я , — не мешало бы напомнить ей, что из министерства он уйдет в двенадцать.

— Позвоню-ка я домой, — как ни в чем не бывало заявил он.

От такой наглости у остальных полезли глаза на лоб. Без четверти двенадцать, когда они начали собираться, господин Пупарден отпустил шутливое замечание по поводу их торопливости. С перерыва он пришел позже положенного. Незадолго до конца рабочего дня его вызвал к себе начальник.

— Мсье Пупарден, — начал о н , — я долго терпел ваши выходки, однако считаю своим долгом предупредить вас, что всему есть предел. На службу вы являетесь с опозданием и даже не считаете нужным извиниться, строите из себя бог весть что, болтаете по служебному телефону, диктуете письма, собираетесь развесить в присутственном месте фотографии актеров и киноафиши. Одним словом, распоряжаетесь, словно вы тут царь и бог. Уж не хотите ли вы создать государство в государстве? Если вы не можете отказаться от подобного образа действий, возвращайтесь на Елисейские поля!

Каким тоном произнес он последние слова! Откуда он мог узнать? От людей, понятное дело...

Господин Пупарден, который до сих пор смиренно вни-

мал отповеди начальника, держа руку на груди (у больного сердца) и пытаюсь время от времени вставить: «Но...» или: «Позвольте...», внезапно распался: «Неужто я позволю командовать над собой этому ископаемому, которому цена каких-нибудь полторы тысячи франков в месяц, — я, глава «Синопкино», душа киностудий, старина Пуп, я, стоящий шесть, а то и все семь тысяч?» Он разразился гневной тирадой, наливаясь краской и брызгая слюной начальнику в лицо; от волнения он присюсюкивал сильнее обычного — ну и пусть! Он знал, что его сослуживцы, все трое, припали ухом к дверям, знал, что сам себя выдает, рассказывая о Елисейских полях, о своих секретаршах, афишах, студиях, — пусть! Он уже не в силах был остановиться. Обвиняя, клеймя позором, он перешел на крик. Он свалил в кучу все: деспотичных родителей, нудных священников, самодовольных корсиканских унтеров, угодливых чиновников, алчное государство, зеленые папки, время, растраченное на подхалимаж, на притворство, на ничтожные интриги... Он вывернул себя наизнанку, вывалил наружу всю мерзостную ношу, которую годами таскал в себе, привыкший помалкивать, как человек покладистый. Это походило на грандиозный скандал — с битьем посуды и окон; или будто ветер, переходящий в ураган, срывает одежду и парики, бьет в лицо, разметает бумажки из папок — какая благодать! Облегчив душу, господин Пупарден был счастлив и готов пойти на мировую. Еще немного — и он сказал бы: «Чего уж там, все утрясется, главное — понять друг друга! Я такой: могу погорячиться, вспылить, но, в сущности, я добрый малый. Да и вы тоже! Давайте же вашу руку, шеф, и забудем обо всем!»

Но начальник, переждав бурю, сказал:

— Мсье Пупарден, я полагаю, что с лихвой исполнил свой долг, дав вам возможность выговориться до конца. Мне остается добавить только одно: с завтрашнего дня вы уволены.

— Но...

— Я мог закрыть глаза на ваш фиктивный отпуск и на вашу мнимую болезнь, но на сей раз чаша моего терпения переполнилась: вы вернулись единственно для того, чтобы поливать грязью людей, которые в отличие от вас не свернули с прямого пути, — этого я не потерплю! Можете быть свободны.

— Я...

Бормоча что-то, господин Пупарден вышел. Ошеломленный, потерянный, он добрался до остановки, сел в автобус. Придя в себя, он осознал всю меру обрушившегося на него несчастья. Главное — ни о чем не думать, иначе, того и гляди, расплачешься на глазах у людей. Люди, опять эти люди! Неужто всегда будет так? Терзаться стыдом из-за двух десятков болванов, которые сидят здесь бок о бок, как и каждый день, и никогда не переменят ни мест, ни привычек, ни жизни! Которые мнят себя совершенством и твердо убеждены в собственной непогрешимости. Люди... Завистливые, скупые, эгоистичные, ограниченные, злоязычные — они преследуют его с детства! Или, может, тогда это были их родители, но зло передается из поколения в поколение; выходит, из этого круга никогда не вырваться? Из этого круга... Господин Пупарден начал задыхаться, взор его затуманился. «Я должен выйти, — пронеслось у него в мозгу. — Я должен выйти отсюда, иначе я закричу, обругаю их, наброшусь на них с кулаками!»

Он вышел из автобуса и, спотыкаясь, побрел к себе. Слишком много волнений, слишком много крутых поворотов для одного дня, чтобы он смог это вынести. Ему стало тяжело дышать, в сердце будто вонзился острый шип. «Надо добраться домой... домой... домой...» Повторяя и повторяя это слово, он вдруг обнаружил, что оно потеряло для него смысл. Поглядев на себя как бы со стороны, он изумился: а сам-то он кто такой? В голове загудело, забухало — он сжал ее в ставших чужими руках. «Домой... домой...» Ноги сами несли его к дому. Он бежал, чувствуя себя все хуже и хуже. Он никак не мог глубоко вдохнуть. Можете вы это

понять? Он чувствовал, что ему никогда больше не удастся глубоко вдохнуть. «Не может быть... Не может быть...» Он попытался крикнуть, но не сумел, как это бывает в дурном сне. «Домой...» Он бежал, зажмурив глаза, окруженный бухающими колоколами, пронзаемый тысячью игл; с чугунной головой, на ватных ногах, он все бежал, бежал, бежал...

Жена и дочь, вышедшие ему навстречу на угол, как в былые времена, не сразу поняли, что тучный человек с белым как мел лицом, который мчался к ним, но вдруг осел и по инерции перекувырнулся, как подстреленный на бегу з а я ц , — это и есть он, господин Пупарден.

— Альбер!

— Папа!

Они склонились над ним, не в силах вымолвить ни слова. Улица была безлюдна. Жена взяла его за ноги, дочь — под мышки: он тяжел, господин Пупарден, — вернее, был тяжел... «Консьерж вернется через пять минут», — было написано на листке бумаги. Женщины не стали его ждать и сами потащили свою ношу на шестой этаж.

Начальника конторы мучила совесть: «Так, значит, сердце у него и вправду было больное?» Он и словом не обмолвился об увольнении, а, напротив, выхлопотал вдове Пупарден повышенную пенсию.

Адриен, глубоко опечаленный, тоже назначил было от своей фирмы приличную пенсию тете, но она холодно отказалась. Он так никогда и не узнал, что для жены и дочери Пупардена его имя навсегда стало символом низости.

## Смутьян

Случилось это в городе Б. в 1935 году: ездовой стоявшего здесь артиллерийского полка, Ахма-Бдеу, сенегалец (реги-

страционный номер 23702), был посажен на гауптвахту, после того как на его карабине обнаружили ржавчину.

Унтер-офицер Стефанетти приказал посадить Ахма-Бдеу в камеру раздетым. Дело было в июне: дни стояли жаркие, да и по ночам было тепло. И потом, черт побери, этим черномазым не привыкать ходить нагишом!

Вовсе он не злодей, унтер-офицер Стефанетти: собаку, к примеру, и пальцем никогда не тронет, разве что бездомную какую, и грубого слова от него никто, кроме подчиненных, не слышал. Малый, в общем-то, неплохой, одно только: любил, чтобы его уважали, и не любил, чтобы поучали; такой вот он и был, этот корсиканец из Бастии, унтер-офицер, аджюдан-шеф \*, почти лейтенант.

В ведении унтер-офицера Стефанетти находились: невзрачная комнатка с тремя окнами (два стекла выбиты, некоторые замазаны синей краской, кое-где на стеклах нацарапаны ругательства); печка, труба от которой шла наискось через всю комнату; решетчатая перегородка с окошечком; два шатких, но прикрепленных к полу стола; пара-другая щербатых чернильниц, пресс-папье, замызганные ручки, карандаши, промокашки, печати, которые не «печатают», ржавые скрепки и, как он сам говорил, «вся эта макулатура» — тетради, ведомости для заполнения, а кроме того, четыре стула, портреты нескольких президентов республики, план Парижа со следами грязных пальцев, разные там объявления и положения, давно устаревшие и выцветшие, часы, которые надо бы, черт побери, как-нибудь заставить ходить, чего они отродясь не делали, и на всем этом — слой пыли в полсантиметра, по утрам летавшей по комнате, прежде чем осесть наконец на пол, усеянный замусоленными окурками.

Унтер-офицер Стефанетти начальствовал также над двумя удостоившимися его благоволения благодаря красивому почерку и дрожавшими перед ним пройдохами, которые, впрочем, отыгрывались, наводя страх на других. Как их звали, не важно. Как фамилия унтер-офицера, тоже было бы

\* Унтер-офицерский чин во французской армии.

совершенно не важно, не прикажи он раз, в одну из июньских суббот, засадить сенегальца на губу голым. Фамилия его, значит, Стефанетти, унтер-офицер Стефанетти.

Вот уже два года, как под его началом находились арабы. А надо сказать, психологию цветных он изучил до тонкости: желтых, негритосов, один черт. Притворщики, строптивцы, воры, негодяи, кобели с плоской, должно быть от частого битья, задницей; им бы только жрать рис да курить свое зелье. Все, как на подбор, дикари — сенегальцы, мальгаши, арабы, вьетнамцы, — но арабы хоть иногда голос подают, прощения просят, говорят, что больше не будут, называют его «господин лейтенант», а эти вонючие негры, чтоб им сдохнуть, рта не раскроют и смотрят эдак свысока.

Взять хотя бы этого Ахма-Бдеу: думаете, он соизволил объяснить, почему у него на карабине ржавчина? Вода, мол, попала, или смазки не хватило, или еще там какая причина. На что можно было бы сказать: «Ты что, надо мной издеваться вздумал?» Так ведь нет, ни слова из себя не выдавил! Стоит, как верблюд, глазищами хлопает; вы себе распялетесь, брызгаете слюной, а он лишь слегка отстранится от вас и знай себе молчит.

На губу для того и сажают, чтобы человек особо из себя не строил. И если вы видите, что кому-то начхать на это наказание, тут самое время изобрести что-нибудь такое... а то ваш авторитет пострадает. В общем, черт побери, не станете же вы терпеть, если этакая образина молча уставится на вас, на унтер-офицера, почти лейтенанта, будто вы ему в подметки не годитесь? И это негритос!

Потому Стефанетти и пришло в голову раздеть парня догола. Каково придумано? Скажете, сенегальцы больно стыдливы? Чего там! Арабы вон какие бесстыжие... А негры чем лучше? Ладно, хватит об этом. Уж я-то знаю, что говорю.

Было два часа. Стефанетти вышел из казармы и направился домой узнать, все ли жена приготовила, ведь на следующий день их малышка пойдет к первому причастию.

В пять часов к нему домой примчался один из писарей:

Ахма-Бдеу, сенегалец, убежал с гауптвахты. Да, голый! Через казарменный двор он проскочил к оружейному складу и украл карабин вместе со штыком. Заряженный? Да, скорее всего. Потом побежал в казарму, но в коридоре, у двери «С», его окружили, он забился в угол, грозит карабином и ругается...

«Он бежал в казарму, хотел меня у б и т ь , — сразу подумал унтер-офицер. — А я оттуда ушел, потому что дочке завтра причащаться. Это чудо!»

Застегивая китель, затягивая португую, он не мог отогнать мысль, что вляпался в хорошенькую историю, что, может, перестарался. Ну и дела! Вся казарма собралась вокруг этого психа, лишь один он, Стефанетти, самовольно ушел домой. Представляете? Мысли унтер-офицера никогда не выходили за пределы маленького круга, центром которого был он сам.

Он спешил к казарме, впрочем, не очень сильно, чтобы не возбудить подозрений у солдат, которые то и дело попадались ему на улице в этот субботний день. Рысцой за ним следовал писарь, довольный тем, что его миссия окончена и пусть теперь начальство само расхлебывает. Время от времени унтер-офицер оборачивался к нему и говорил одно и то же:

— Черт бы побрал эту заразу вонючую!

Подойдя к казарме, унтер-офицер с облегчением вздохнул, увидев, что во дворе никого нет. «Если не знать, то и не догадаешься», — подумал он.

Потом он поднялся на склад и убедился в том, что карабин, слава богу, был не заряжен. Затем он спустился по той же лестнице, по которой раньше шел этот п с и х , — судя по шуму, именно там, внизу, все и собрались.

На лестничной площадке второго этажа он остолбенел: на ступеньках и вдоль коридора, ведущего к двери, стояли солдаты в белых рубахах, уставившись на огромного голого негра, кожа которого блестела в полумраке; негра пробирала дрожь, он тяжело дышал и обеими руками сжимал карабин

с насаженным штыком. Время от времени он вскидывал карабин, и все испуганно пятились назад.

— Это еще что за представление? — грозно спросил унтер-офицер.

Все взоры обратились к нему, послышалось: «Стефанетти...»

Польщенный и в глубине души надеясь, что сенегалец сам отшвырнет оружие и бросится на колени (араб так бы и поступил!), унтер-офицер стал молча спускаться по лестнице, уже готовый выказать снисходительность, простить.

— Пошла вон! Ты сволочь, я на тебя плевать! — заорал вдруг Ахма-Бдеу.

Раздались смешки. Унтер-офицер побледнел, обвел взглядом солдат, отметил про себя самых веселых. Смех прекратился. Унтер-офицер сделал еще пару шагов.

— Ты иди, я убивать, — медленно проговорил Ахма-Бдеу, сжимая карабин.

Их взгляды на мгновение скрестились, и унтер-офицер отступил на несколько ступенек вверх. Солдаты загудели.

«Тут к нему не подберешься, — пронеслось в мозгу унтер-офицера. — Нужно обойти со стороны коридора». Так он и сделал.

И там он столкнулся с дежурным офицером в чине младшего лейтенанта.

— А, вот и вы, Стефанетти! Надеюсь, вы наведете тут порядок! И чтобы никакого кровопролития. После доложите.

Ему явно была неохота осложнять себе жизнь. Поставьте себя на его место: дипломированный инженер, через два месяца демобилизуется и поедет к невесте и, даст бог, никогда больше не услышит о пушках, лошадях, солдатской кухне, не будет говорить всех этих «так точно», «будет сделано, господин майор». Так что эта дурацкая история с сенегальцем и унтер-офицером с Корсики, вся эта вендетта ему ни к чему. Он офицер, призванный из резерва, а тем двоим еще служить и служить, пусть они сами свои дела улаживают. «После доложите», — и все тут.

— Будет сделано, господин лейтенант.

Стефанетти это вроде бы устраивало. У него сложился свой план, как поставить на место эту макаку: такой фокус частенько ему удавался, когда он имел дело с арабами.

Сначала он пытался как-то договориться с Ахма-Бдеу, но безуспешно, в ответ только: «Я на тебя плевать» или, того хуже, молчит. Стефанетти все втолковывал ему, что у него нет выхода, — не стоять же ему всю жизнь тут, в коридоре? Даже если все уйдут, куда он денется, голый? Так что пусть тут же идет в расположение своего взвода, понятно? Сдаст оружие! Ну хотя бы своему приятелю трубачу. Трубач ведь славный малый! Ну же!

Сенегалец отвернулся; недоверчивый, как лама, он слушал, поглядывая искоса на унтер-офицера и вздернув губу. Все-таки его слегка проняло. Он нерешительно переминался с ноги на ногу.

— Ну и силен же наш Стефанетти, — вполголоса произнес кто-то из солдат.

Приободрившись, довольный собой, унтер-офицер спустился еще на одну ступеньку, продолжая в том же духе. Ахма-Бдеу нужно спешить: с минуты на минуту появится офицер. Может, сам полковник. Вот будет дело! Побег с гауптвахты, оскорбление унтер-офицера, почти лейтенанта, хищение оружия со склада — это пахнет трибуналом, а там приговор и виселица. Смерть, понятно? Так вот, от всего этого Стефанетти его, так и быть, избавит, он один, может, и готов его спасти! Именно Стефанетти он будет обязан своим спасением, но при условии, что... Ах, не подумал! Этого как раз и не надо было говорить... Что он будет обязан своим спасением Стефанетти.

— Грязный свинья! Ты подыхать! — заорал Ахма-Бдеу.

И угрожающе поднял карабин; раздосадованный унтер-офицер отступил на несколько шагов. Ну ничего, у него есть и другие приемы, обломает он в конце концов этого негритоса!

Он отдал шепотом какие-то распоряжения и стал ждать;

прошло время. Ахма-Бдеу встревожился. Дверь на этаж открыли, и голый сенегалец оказался на самом сквозняке. Он задрожал от холода, потом забавно чихнул; лицо его посерело.

И тогда в двух шагах от сенегальца на пол упал сверток с одеждой: феска, словно окровавленное сердце, торчала из узла с обмундированием цвета хаки, связанного ремнем. Непроизвольно негр подался вперед, выпустил из рук оружие и поднял сверток. И в тот же миг четыре руки потянулись за карабином, но схватить не успели.

— Сволочь!

Он отбросил одежду и снова сжал в руках ружье. Он тяжело дышал, и его пробирали дрожь.

— Сволочь! Все сволочь!

Одежду забрали. «Не выгорело!» — подумал унтер-офицер, и взгляд его остановился на черных ручищах, сжимавших приклад с такой силой, что пальцы стали серо-розовыми. Знаете, был случай, когда мертвому арабу пришлось перебить пальцы, чтобы вытащить ружье. Стефанетти пришло на ум, что и с этим Ахма-Бдеу... Хотя нет! Негры ведь большие дети. Просто надо попробовать другой способ.

Унтер-офицер поманил к себе другого сенегальца, приятеля Ахма-Бдеу, который стоял тут же и молча смотрел перед собой немигающим взором. Они вышли во двор, и Стефанетти принялся вкручивать ему мозги:

— Ты объяснить свой приятель, чтобы он вернулся к себе. Зачем стоять голый, — и тому подобное.

— Слушаюсь, господин аджудан, — только и сказал товарищ Ахма-Бдеу с презрительной миной на лице.

— Надо говорить «господин лейтенант», — стал выговаривать ему унтер-офицер.

— Да - а , — протянул негр, но в его голосе проскользнули насмешливые нотки.

— Ну давай иди, иди!

Негр продрался сквозь толпу белых рубах (он был выше всех на голову) и, добравшись до Ахма-Бдеу, стал говорить

ему что-то на их родном языке. Но тот перебил его и заговорил сам, и так властно, что это поразило всех, даже унтер-офицера, прятавшегося за спинами солдат. Высокий негр опустил голову и отошел от Ахма-Бдеу; потом направился во двор.

— Ну, что он сказал?

Неф только неопределенно махнул рукой и хотел уже уйти, но унтер-офицер схватил его за рукав:

— Черт побери, ответишь ты мне наконец?

— Мы говорить про наша страна. Он великий вождь...

— Ахма-Бдеу? Ну и что?

— Ничто. Мы говорить про наша страна.

И широким шагом он отправился прочь, не обращая внимания на крики унтер-офицера: «Вернись! Объясни!»

— Банда психов! Чистое наказание иметь дело с такими дикарями!

— Черт побери, я же забыл дать сигнал к обеду!

И трубач, всех распахивая, понесся что было мочи к себе, чуть ли не на каждом шагу бормоча: «Дерьмо собачье».

Солдаты в белых рубахах, которым это представление уже порядком надоело, потянулись к дверям. Унтер-офицер вздрогнул: «Если они все разойдутся, он набросится на меня».

— Стоять, вы, там! Будете обедать по очереди. Нельзя оставлять его здесь одного.

— Может, вызвать караул? — предложил капрал.

— Чтоб они тут начали на штыках драться, нет уж, спасибо! Надо, чтобы он сам пошел к себе. И чтобы никакого кровопролития!

«Вызвать караул!» Ему даже жарко стало от этой мысли, и он вытер лоб.

— Бедняга, — прошептал один из солдат. — У него, наверно, под ложечкой сосет, с утра ничего не ел.

«А ведь это идея», — осенило вдруг унтер-офицера. И он направился на кухню.

Прошло несколько минут, и притащился сам повар. В ру-

ках он держал котелок с дымящейся кашей. Все почтительно расступились.

— Ты что, старина, дуешься? Нехорошо, нехорошо. Погляди-ка, что я тебе принес. Вон сколько каши тебе наготовил. Чувствуешь, как пахнет? С тройной добавкой. Так что извольте откусать. А кускус какой! И много. Да положи ты свое ружье, вот чокнутый, есть-то руками надо!

Солдаты, решившие было, что повар жалеет беднягу, поняли теперь, что к чему, и, подталкивая друг друга локтями, зашептали:

— Ну и мастак обдуривать наш повар! Гляди-ка!

Но и Ахма-Бдеу тоже все понял. Осторожно, концом штыка — хоп! — он вышиб из рук повара котелок, и дымящаяся каша поползла по животу обманщика.

— Толстый дурак, — беззлобно произнес сенегалец.

И повар удалился под общий хохот.

Когда снова показался унтер-офицер, негр почти и не взглянул на него.

— Сволочь, — только и сказал он, покачав головой, — сволочь.

Лучше бы уж негр злобно ругался по-прежнему: теперь же в глазах Ахма-Бдеу читалась какая-то отчаянная решимость. «Зря я ему стал говорить про трибунал. Теперь он знает, что его ждет. Теперь он на все способен...»

— Смирно! — слышалась команда.

Все встали навтыжку, даже Ахма-Бдеу и тот изобразил нечто вроде стойки «смирно».

«Офицер, этого только не хватало! — подумал Стефанетти, обернувшись. — Да еще полковник...»

Полковник приближался медленно, с улыбкой на устах, но взгляд его не предвещал ничего хорошего.

— Итак, что здесь происходит? А это что такое? Голый? Унтер-офицер, потрудитесь объяснить.

— Господин полковник... Я... Этот солдат сбежал с гауптвахты, — забормотал Стефанетти.

— Но почему голый? — не отставал полковник.

— Он... он взбесился, господин полковник.

— Да? Сейчас посмотрим.

И он как-то странно взглянул на унтер-офицера. Потом повернулся к Ахма-Бдеу:

— Друг мой, надо вернуться к себе в казарму и одеться. Идите... идите.

И тут в наступившей тишине медленно, отчетливо выговаривая каждое слово, сенегалец произнес:

— Плевать я на тебя, полковник, и на твой офицер.

«Бедняга, — подумал полковник, — да еще при свидетелях...» И он обратился к Стефанетти.

— Даю вам час, чтобы все это прекратить, — сказал он тихо, но взгляд его метал молнии.

И он так же медленно удалился.

Некоторое время солдаты еще стояли навтыжку. Потом бывшие тут сенегальцы бросились к Ахма-Бдеу, что-то тараторя на своем языке. Но он велел им замолчать.

Унтер-офицер позеленел, сжал зубы и начал отдавать распоряжения. Отправил солдат обедать, оставив лишь несколько человек.

— Уматывайте! Нечего вам тут делать! Давайте, давайте!

И он принялся расхаживать взад-вперед, заложив руки за спину. Время словно замерло. Ахма-Бдеу по-прежнему дрожал.

Вдруг унтер-офицер остановился и, видимо что-то придумав, поспешно ушел. И вновь время сдвинулось с мертвой точки. Дважды подала голос труба, вызывая сначала капрала из третьего взвода, потом сержанта из седьмого. Ахма-Бдеу всякий раз настораживался.

И тут в дверях показалась Кармен.

Да, та самая: из борделя с улицы Анатоля Франса, любимица сенегальцев, по кличке Неряха.

— Ба, красавец, ну ты даешь! Голый! Как в ту субботу, помнишь?

Она потихоньку подходила все ближе и ближе.

— Бросил бы ты свое ружье, долговязый. Поразвлекся бы со мной немного. Что, неужели с Кармен не хочешь поразвлечься?

Она говорила без умолку. Предлагала разные гнусности, так что в нем разыграло желание. Солдаты отвернулись, им было не по себе, и они чувствовали себя униженными. Ахма-Бдеу закрыл глаза и еще крепче вцепился двумя руками в карабин.

— Мотай да в а й , — хрипло сказал о н , — шлюха, грязный шлюха! Мотай!

И он пригрозил ей ружьем.

— Ишь ты разошелся, дерьмо! — закричала Кармен.

И, плюнув в сенегальца, пошла вон.

Ахма-Бдеу присел на землю, застонал, и с его губ слетели какие-то слова на непонятном языке. По щекам текли слезы, он стучал зубами и дрожал всем телом.

Потоптавшись немного, солдаты в смущении разошлись, не дождавшись приказа. Он остался один. Вечерело.

Из горестного оцепенения вывел сенегальца лишь стук копыт, донесшийся с опустелого двора. Ахма-Бдеу прислушался.

— Б а б о ч к а , — прошептало н . — Бабочка.

Это была одна из его лошадей, любимая.

Стук копыт приближался. Потом он услышал ржание — сомневаться не приходилось: это действительно была Бабочка. Значит, и она сбежала, и она теперь одна, там, во дворе?

И негр тихо позвал ее, произнеся известные только им двоим слова; лошадь медленно приближалась; неуклюже ступая, она вошла в коридор, наклонила шею и теплыми ноздрями прикоснулась к холодной от слез щеке.

Ахма-Бдеу выпустил из рук карабин и вскочил на спину лошади. Если бы кто-нибудь взглянул из окна казармы, то увидел бы, как в вечерних сумерках они пронеслись галопом через двор: лошадь и нагой всадник.

Лошадь он вернул в конюшню, привязал, успокоил. Люди унтер-офицера прятались за перегородкой, они там устроили

засаду. Впрочем, Ахма-Бдеу догадался. Но нельзя же бросать лошадь в казарме: она может зацепиться за повод, упасть, пораниться.

На следующее утро унтер-офицер Стефанетти с гордым видом стоял в церкви — как-никак первое причастие дочери. Кругом были свечи, цветы, играл орган. Он надел свой парадный мундир, но на душе было беспокойно: «Этот придурок все расскажет. Расскажет, что я велел посадить его на гауптвахту голым. Да, что и говорить, попал в переplet. Влип...»

Вы зря беспокоитесь, унтер-офицер Стефанетти: этот придурок уже ничего не расскажет. Только что в камере он повесился на своем ремне.

## Немецкая овчарка

Толстые губы под неаккуратно торчащими усами шевелились — Рабаллан подсчитывал деньги; наконец он поправил очки и обвел взглядом шестерых своих коллег по духовому оркестру, ждавших в напряженном молчании.

— Так вот, ребята, на сегодня у нас две тысячи двести тридцать четыре франка, и это не считая взносов за вторую половину тридцать седьмого года.

— На этот раз, — сказал Вриньо, — мы сумеем туда съездить.

Сигарета у него потухла, и он снова ее зажег; пламя зажигалки осветило его веселую улыбку. Молодой Дебрень (саксофонист) вскочил с места:

— Съездить? Куда это съездить? Не в Германию, надеюсь!

— В Германию, приятель, и я тебе объясню почему. Ведь каждый год часть заработка мы откладываем, чтобы потом всем вместе куда-нибудь махнуть.

— В тридцать втором году — Дордонь, — начал перечислять тромбонист, — в тридцать третьем — Лурд, в тридцать четвертом...

— А потом мы поехали, как ты хотел, в Италию.

— Надо же все-таки и мир поглядеть!

— Я и не спорю. Только истратили мы все дочиста. В прошлом году хватило лишь до Бельгии. Но ведь мы тебе говорили, наша мечта — снова побывать в Германии.

— Шталаг три-а, — сказал Вриньо и подмигнул. — Пленные, на поверку становись!

— Пятеро из нас были в плену в одних и тех же местах с четырнадцатого по восемнадцатый год. Что же удивительного, если мы хотим снова туда наведаться?

— Тоже мне — плен, — хмыкнул Дебрень, которому все эти разговоры порядком надоели, — работали себе на ферме да мужей заменяли.

— Самому, видно, невдомек, что в точку попал, — прошептал Вриньо и тихо рассмеялся.

— Хватит, — осадил его молчавший до сих пор Тевенен, — чего зубы скалишь, не тронь то время.

Под пристальным взглядом молодого Дебренья старый холостяк Тевенен покраснел, хотел было что-то сказать, но передумал и снова погрузился в привычное для него молчание. Никогда раньше Дебрень не замечал, какие у Тевенена серые глаза, широкие скулы, выпуклый лоб.

— Неужели, Дебрень, тебе непонятно, что нам хочется побывать в тех местах? — снова начал кто-то из ветеранов.

— Да, пока новая война не началась.

— Типун тебе на язык! Знал бы ты, что это такое...

— Ничего, скоро узнаю, — с горечью произнес Дебрень. — Только и вы меня поймите, нет у меня желания теперешней Германией вблизи любоваться. Я дома останусь.

— Теперешняя Германия, теперешняя Германия, — заворчал Рабаллан, складывая бумаги, — не стоит, Дебрень, принимать на веру все, что пишут в газетах... Люди везде одинаковые, такие же, как мы...

Целых два дня они потратили на Шварцвальд, познакомились с соборами и замками, с харчевнями и белокуроыми служанками. Они пытались говорить по-немецки так же чисто, как в 16-м году, но за долгие годы, прожитые на берегах родной Луары, многое забылось. Их сердца сжимались, когда они видели людей в военной форме, заводы; нет, Дебрению они будут рассказывать только о пиве да о девочках.

На третье утро автобус высадил их на перекрестке недалеко от места, где был их лагерь. Теперь каждый отправится на ферму, где работал, когда был в плену, — они снова встретятся на остановке в пять часов.

— Ладно, старики, до скорого, ни пуха вам!

Сначала приятели храбрились, но как только расстались, их обуяла тревога: что, если на месте столь знакомых им двадцать лет назад строений они увидят завод или стадион? Или совсем других людей, или мужа, который встретит их в штucky?

— А ведь мне пришлось на него попотеть, — произнес Рабаллан вслух, хотя никто не мог его услышать.

«Славный нынче овес уродился, — думал, шагая по дороге, Вриньо, — теперь они, наверно, как и я, обзавелись трактором».

Корбен же размышлял: «Интересно, держат ли они сейчас коров. При мне их было семнадцать, да, семнадцать, я помню...»

«Трое ребятишек, сколько же им теперь? — подсчитывал Дюкре. — Двадцать семь, двадцать пять и двадцать два. Женились, наверно. У самих, может, дети. Да... — И он вдруг почувствовал себя стариком. — Сейчас я бы уже не смог пережить Верден, — сказал он себе, — не хватило бы сил... и главное... не терпения, а как бы это сказать...»

— В е р ы , — слово как бы само сорвалось с его губ.

Скорбь наполнила сердце. Но раздавшийся вдалеке резкий ослиный крик, как ни странно, приободрил его: «А впрочем, что Верден... Жизнь все равно возьмет свое. Она силь-

нее н а с . — Он окинул взглядом поля, деревья, низкие строения, к которым вела его дорога. — Все это и есть жизнь...»

Тевенену тоже пришлось останавливаться, и даже два раза: учащенное биение сердца отдавалось по всей груди, он с трудом дышал.

— Тельда, — сказал он вслух, потом повторил громче, как бы стараясь выкнуться с именем, которое таил в душе все эти г о д ы . — Тельда, Тельда...

«А если она снова вышла замуж? И у нее куча детишек?» Много раз Тевенен, которого прозвали Нелюдимом, задавал себе этот вопрос, ну что ж, теперь он получит на него ответ, как только пройдет вот эту рощу, в которой когда-то он простился с Тельдой и бросил последний взгляд на все, что ему так и не удалось забыть. Как раздалась с тех пор деревья, наверно, и Тельда раздалась... «Она изменилась, конечно же, изменилась. Все-таки двадцать лет прошло. Я и сам поседел...» Он повторял себе это снова и снова, словно пытается привыкнуть к этой мысли, но ничего не получалось. Нет, он увидит прежнюю Тельду — светловолосую, с уверенными движениями, с упругой и податливой грудью, округлыми бедрами...

— Ну что, Тевенен, надумал наконец жениться?

Давно уже перестали его об этом спрашивать и обсуждать его редкие похождения; вся деревня считала теперь Тевенена законченным холостяком, привыкла к его скорбному виду, к его худобе, к тому, что он никогда не бахвалится своими победами и стареет себе на свой собственный лад. Никому он так и не доверил этого имени — Тельда.

Ее муж умер почти сразу после того, как был заключен мир, и она написала о его смерти Тевенену, не добавив больше ни слова. «А что, если мне вернуться к ней?» — тут же подумал он. Эта мысль точила его много дней и особенно мучила по ночам. «А что, если вернуться?» Но в те времена в деревне ни за что не простили бы ему такого предательства и, уж конечно, не приняли бы Тельду, вздумай он привезти ее к себе. «Но если она напишет мне еще...»

Как это часто делают слабые люди, он связал свое решение с обстоятельством, которое никак от него не зависело. Тельда прислала еще одно письмо, такое же короткое, как и первое, где сообщала о рождении сына, Георга-Эмиля. Почему Тевенен тогда решил, что это сразу ставит крест на всем? Почему появление на свет этого нового существа он с мрачным удовлетворением считал оправданием своей нерешительности? Может, просто сержант Тевенен, сняв шинель и вещмешок, заодно снял с себя и ответственность за все происшедшее? Никому больше не было дела до этого изнуренного войной человека, и он остался наедине с собой и со своей потерянной жизнью — худой скуластый крестьянин с высоким лбом, появившейся раньше времени сединой и серыми глазами, в которых почти всегда сквозила грусть.

Тельде он больше ничего не писал и только на прошлой неделе послал весточку; письмо он переписывал раз десять, пока наконец оно не свелось к коротким до неприличия строкам: «Путешествую с товарищами по Германии, загляну в такой-то день, надеюсь застать». Ответа не было, но Тевенену ни на секунду не приходило в голову, что Тельда могла переехать в другое место или даже...

Только сейчас эта мысль ошеломила его, он замер на месте, замерло и сердце.

«Ведь она могла умереть». И он, словно оглянувшись на свою никчемную жизнь, почувствовал отвращение к самому себе. На мгновение Тевенен испытал полную опустошенность, потеряв даже то уважение к себе, которое обычно поддерживает человека в жизни. И тут с другого конца роши послышался собачий лай.

— Криллер, — прошептал Тевенен, — это он лает, точно, он. Если Криллер здесь...

Он бросился к дому. Собака увидела его первой, перестала лаять и, натянув цепь, радостно завиляла хвостом. Но Тевенен уже не обращал на нее внимания; теперь он высматривал светлый силуэт в сумраке хлева.

— Тельда!

Она обернулась. Все такая же! Нет. Расстояние между ними сокращалось, и он все яснее видел, как она изменилась, но это и породило в нем надежду. «Тельда поймет, что и я уже не тот...» Но при этом с каждым шагом они все более походили на мужчину и женщину, так любивших друг друга двадцать лет назад. Она назвала его по имени, и у него из глаз брызнули слезы: он заплакал не сдерживаясь, как ребенок. Тельда бросилась ему в объятия. И Тевенен снова ощутил тяжесть родного тела, о котором грезил столько ночей, вдохнул знакомый запах, казалось забытый им навсегда, и почувствовал себя таким счастливым, что ему вдруг захотелось умереть.

Когда они оказались в состоянии заговорить о чем-то другом, кроме самих себя, Тевенен спросил:

— Я вижу, это Криллер?

— Да что ты! — Из глубин ее памяти французские слова поднимались медленно, словно со скрипом. — Ведь двадцать лет прошло, Поль! Криллер умер, а это его сын, правда, его я тоже назвала Криллером.

— Но он меня узнал...

Потом, отведя глаза, Тевенен с некоторым напряжением в голосе спросил:

— А Георг-Эмиль живет не тут?

Она тоже отвела взгляд.

— Тут, но... Он куда-то уехал с утра. Пошли!

Она провела его по ферме, с гордостью показывая все новое, что здесь появилось; Тевенен же с какой-то нежностью выискивал как раз то, что осталось прежним. Время словно остановилось, и Тевенен, казалось, забыл, где он находится и что с ним, — так часто бывает со счастливыми людьми. Тевенен вошел в дом, в комнату, где в нише поблескивала аккуратно застеленная кровать, и такой домашний запах натертого воском пола потряс его (запах всегда сильнее звука и образа). И тут ноги его подкосились, к горлу подступил комок. Тевенен понял, что сам испортил себе

жизнь, что счастье с бесконечным терпением ждало его здесь; но уж теперь-то прощай, жалкое прозябание, трусливое благоразумие.

— Тельда, — сказал он, резко притянув ее к себе, — прости меня. Я боялся... Ждал... А чего ждал? Все казалось, молодость никогда не кончится. Но, Тельда, ведь не все еще потеряно, правда? Вот мы с тобой и вместе. Зачем же нам разлучаться? Я не могу без тебя жить, — вдруг закричал он, — не могу без тебя жить!

Тельда осторожно отстранилась, подошла к шкафу, достала откуда-то из потайного места старую фотографию: сержант Поль Тевенен в 1917 году — и протянула ему. Руки у нее дрожали. Теперешний, поседевший уже Тевенен лишь мельком взглянул на фотографию.

— Ну и что, — глухо сказал он, — что из того? Да, наша молодость прошла, но зато теперь мы знаем, что такое жизнь и что нельзя терять ни одного дня. Ответь же мне, Тельда, ответь, — взмолился он.

Две бесхитростные слезинки потекли из голубых глаз, и Тельда вдруг стала похожа на беззащитную девочку. Она показала на фото, где Тевенен стоял, одетый в форму старого образца.

— Слишком поздно, Поль. Зачем было столько ждать? Ведь не могла же я напрашиваться сама! Надо было позвать нас к себе, обоих. Теперь это уже невозможно. — И так как он, казалось, не понимал, тихо добавила: — Война.

— Что? — жалобно переспросил он. — Нельзя же принимать на веру все, что пишут в газетах...

— Война, П о л ь, — повторила Тельда.

— Но...

— Ты просто не знаешь!

Возвращался он той же дорогой, ноги слушались плохо. Их разговор, который превратился в нескончаемое прощание, нежность, разрывавшая душу, слезы лишили его сил.

«Я еще вернусь!» — были его последние слова, он снова выкрикнул их, обернувшись уже у самой рощи. Криллер переводил взгляд с одного на другую и жалобно скулил, прижимая уши. «Я еще вернусь!» Он не сомневался в этом, иначе бы не ушел. Война? Поглядим! Ему казалось, что теперь он сможет превозмочь и войну, и время. «Я ждал двадцать лет, выдержу и еще немного. Я... Я...»

Самонадеянность новобранца покинула Тевенена на первом же повороте, и к нему вернулась вся тяжесть прожитых лет, припомнились и долгие вечера, и однообразно тянущиеся годы. Он хотел было повернуть назад, но здравый смысл снова заговорил в нем: «Это было бы неразумно». Неразумно?

— Я еще вернусь, — повторил он громко, словно бросая вызов, но кому?

Небольшая просека отделяла его от перекрестка, где должны были ждать друзья. «Рано ушел», — подумал Тевенен, и ему стало жаль потерянных минут. Но возвращаться было поздно, да и что еще он мог сказать Тельде? Как это на него похоже — нерешительность, опустошенность, растерянность... Как он ненавидел самого себя!

Он вдруг понял: единственное, что как-то поддерживало в нем чувство собственного достоинства и позволяло выносить одиночество, — это была мысль о том, что его любят, Тельда...

Неожиданно из кустов выскочил тощий паренек, взгляд его серых глаз излучал ненависть. На рукаве у него была повязка члена гитлерюгенда. Рассудок еще не успел подсказать Тевенену, кто перед ним, а сердце уже учащенно забилось.

— Да, — сказал юноша, как бы прочитав его мысли, — я Георг-Эмиль, и я вас ненавижу и презираю.

Он подошел к Тевенену вплотную. Тот сильно побледнел. Георг-Эмиль стоял так близко, что Тевенен почувствовал на лице его дыхание и подумал, что юноша вот-вот плюнет ему в лицо.

— Я вас презираю, — повторил юноша.

Он говорил по-французски почти без акцента. «Это Тельда научила его, — подумал Тевенен, — сын Тельды... сын Тельды...» И он призвал на помощь ее образ, чтобы проникнуться любовью к этому пареньку и укрыться от внезапной мысли, но та, подобно стреле, уже проникла в мозг.

— Победители! — выкрикнул Георг-Эмиль и захохотал. Его широкие скулы обозначились еще резче. — Поглядите-ка на этого победителя!

Тевенену вдруг стало стыдно за свои узкие плечи, поседевшие волосы, за воскресные вечера, проведенные за картами в кафе «У моста» в кругу старых друзей из 117-го полка, и за толстяка знаменосца у памятника павшим 11 ноября. Но он не опустил глаза: ему вспомнилась и ночь с третьего на четвертое июня у Дуомона, боевое задание, ранение, перепачканные землей лица товарищей — да, они были победителями. Тевенен хотел было отчитать наглеца, но тут, глядя на побагровевшее от злости лицо парня, заметил, как широк его выпуклый лоб. Тевенен тоже покраснел, и слова застряли у него в горле.

— Победители? Труссы, вот вы кто! Смотрите-ка, совсем онемел от страха. Зачем вы сюда приперлись? На что надеялись? Ну ничего, теперь мы к вам в гости пожалуем. Увидите тогда, какие бывают настоящие победители.

И тут две слезы блеснули в серых глазах, глазах сына. Казалось, Георг-Эмиль не в состоянии сдержать нахлынувшую на него боль. «Бедный мой мальчик, — подумал Тевенен, — прости меня, прости...»

Но он не успел сказать себе это, как Георг-Эмиль ударил его по щеке, один раз, другой, а слезы по-прежнему текли у него из глаз. Тевенен был крепче — все эти упражнения в гитлерюгенде ни в какое сравнение не идут с каждодневным физическим трудом, — но он и пальцем не пошевелил. Пронзительно вскрикнув, паренек принялся дубасить его кулаками по лицу, словно хотел разбить его вконец, как разбивают зеркало.

— Защищайся, трус! — орал Георг-Эмиль, перейдя теперь на «ты».

«Ты так этого хочешь», — угадал Тевенен, но не двинулся с места. Ему показалось, что он наконец получает по заслугам, что так ему и надо. Да, за двадцать лет трусости, нерешительности, себялюбия.

Георг-Эмиль снова закричал, но в его крике уже не было ненависти; схватившись за голову, он побежал к ферме, затем вдруг повернул и через поле помчался в лес.

Рабаллан пришел на место встречи раньше остальных и поставил чемодан на дорогу. Сидевший под деревом Тевенен медленно поднял голову.

— Старина, как это тебя угораздило? — воскликнул Рабаллан.

— Да подрался тут с одним... с пьяным...

— Из-за чего?

— Он оскорблял французов, — сказал Тевенен вставая.

Рабаллану он вдруг показался выше обычного. И тут двадцатилетняя мужская дружба заговорила в капрале Рабаллане (боевая медаль, два ранения, три благодарности в приказе, из них одна зачитана перед строем), и толстяк Рабаллан в своем нелепом берете, Рабаллан, чьи губы дрожали от негодования, а глаза за стеклами очков в металлической оправе увлажнились, вполголоса произнес:

— Жаль, меня там не было.

## У дьявола длинные уши!

Вот уже двадцать лет каждое утро господин де ля Мовельер спускался по лестнице ровно в половине девятого, останавливался как бы в раздумье перед коллекцией оружия и выбирал

каждый раз одно и то же ружье. Он приветствовал взглядом голову огромного кабана, висевшую среди охотничьих трофеев. Кабан был убит зимой 1887 года дядей Артуром и теперь олицетворял в его глазах самого дядю Артура. Он здоровался с кухаркой Викторией и жестом приветствовал слугу Адриена. Потом шел на псарню, делал вид, что колеблется — забирал, как всегда, Брике, — и ровно в восемь тридцать пять они отправлялись в леса и луга, принадлежавшие господину де ля Мовельеру, где дичь, тоже верная своим привычкам, дремала вполглаза в ожидании охотников.

В нынешнем году восьмого марта стояла тихая ясная погода, от которой светлеет на душе, как от стаканчика белого вина. Господин де ля Мовельер углубился в сосновый лес; Брике, как всегда, бежал в трех шагах впереди. Внезапно собака застыла на месте, а хозяин вскинул ружье, но не выстрелил: тропинку не спеша пересек маленький кролик. Господин де ля Мовельер был охотником, но не убийцей; он не выстрелил, и это разочаровало Брике.

Еще шагов через двадцать собака снова сделала стойку, а маленький кролик проследовал в обратном направлении. Господин де ля Мовельер наморщил узкий лоб, пытаясь припомнить, случалось ли с ним раньше что-нибудь подобное... Нет, никогда! Ни с ним, ни с его отцом, ни даже с дядей Артуром!

Они пошли дальше, и господин де ля Мовельер уже перестал думать о случившемся, но тут кролик появился в третий раз, теперь он двигался еще медленнее. На этот раз, вопреки правилам, Брике заворчал, и господин де ля Мовельер поддержал его, хлопнув в ладоши, чтобы спугнуть зверька. Кролик посмотрел на охотников глазами, полными отчаяния, и, прихрамывая, поспешил удалиться. Время от времени он оборачивался и бросал на человека жалобный взгляд. «Нет, — решил господин де ля Мовельер, — я не выстрелю».

Когда они выходили из леса, кролик, все так же прихрамывая, опять перешел им дорогу. На этот раз Брике рванулся

вперед: если хозяин не собирался охотиться, то уж он как-нибудь сам... Но господин де ля Мовельер властно позвал пса и, когда тот, виновато виляя хвостом, подошел, ударил его. Сердце Брике преисполнилось горечи. Но можете себе представить, что с ним было, когда, заполевав другого зайца на лугу у речки, он увидел, что хозяин вскинул ружье, прицелился, но не выстрелил! «Я не могу, — сказал господин де ля Мовельер. — Домой, Брике, домой...»

Ему снова и снова вспоминался умоляющий взгляд маленького кролика: никогда еще зверь не проходил так близко от него, да еще так медленно.

Итак, он вернулся домой в глубокой задумчивости и с пустыми руками. Он внимательно осмотрел охотничьи трофеи в прихожей, все эти звери смотрели на него, как живые, но взгляд их был жестоким, совсем не таким, как у маленького кролика. «Идиот! — внезапно воскликнул он. — Да ведь у этих искусственные глаза! Но как они смотрят, когда живые, ах! Как они смотрят...»

Брике вернулся на псарню в ярости и все рассказал другим собакам. Нельзя больше доверять господину де ля Мовельеру! И вообще ни одному человеку!

Когда слуга Адриен пришел на псарню покормить собак, они зарычали, помочились ему на сапоги и прокусили штаны. Рассвирепев, слуга Адриен вернулся на кухню, где его ждала разъяренная Виктория: «Хозяин ничего сегодня не принес. Придется идти в лавку. Если не успею прибраться, пусть пеняет на себя...»

Господин де ля Мовельер пообедал поздно и плохо, а когда поднялся отдохнуть в свою комнату, то увидел, что она не убрана. Он раскричался — впервые за последние двадцать лет, с того самого вечера, когда дядя Артур... Кстати, вот уж кто был вспыльчив, так это дядя Артур! А племянник так на него походил...

Господин де ля Мовельер получил большое удовольствие от собственного гнева и решил сердиться почаще. А поскольку его слуги стали молчаливыми, притворно-преду-

предительными и больше не давали ему повода выходить из себя, он нашел другой, более надежный способ распалить свой гнев: пристрастился к спорам о политике. В поисках собеседников он отправлялся в кабаки, а там, понятно, надо было пить.

Деревенский священник попытался объяснить ему, насколько его дурной пример... Он весьма грубо выгнал священника, и ноги его больше не было в церкви, которой, между прочим, его семья пожертвовала в свое время колокол и несколько витражей.

Господин де ля Мовельер превратился в пьяницу и драчуна. Распаленный вином, он стал бабником и развратником. Его замок (где жуликоватые слуги заменили Адриена и Викторю) сделался местом оргий, дурная слава о которых поползла по всей округе, привлекая к господину де ля Мовельеру всех подонков и негодяев. Однажды вечером ему захотелось снова убивать, и он с удовольствием вернулся к своим ружьям. «Завтра, — решил он, — завтра устрою бойню!»

На следующий день он вышел пораньше, но от излишеств, которым он предавался последние месяцы, у него дрожали руки и дергался глаз: прицеливался он плохо и все время мазал. Проходя по сосняку, в ярости от своих промахов, он увидел старого знакомого кролика, который не спеша пересекал тропинку. Он вскинул ружье, выстрелил и промахнулся несколько раз подряд, хотя кролик по-прежнему прихрамывал.

«Ну постой же!»

Господин де ля Мовельер бросился вперед и, схватив ружье за ствол, попытался оглушить зверька, но не попал. Вышло по-другому: ружье неожиданно выстрелило, и пуля уложила господина де ля Мовельера на месте — на том самом месте, где несколько месяцев назад Брике и он, такой спокойный, добродушный...

Ну, а кролик все еще гуляет. Остерегайтесь кролика!

## Дорога Форлоннера

Господин Форлоннер садится за столик и принимается придирчиво изучать меню, словно это тетрадка ученика, которую он собирается изукрасить вопиюще красными надписями: «удовлетворительно», «посредственно»... Нет, нет! На этот раз все не так. Ведь сегодня Форлоннер отмечает двадцатипятилетие своей работы в школе; двадцать пять лет назад он соединил свою судьбу с одиночеством, безразличием, неблагодарностью, и вот наступила серебряная свадьба. Этим летом Форлоннер изменил семейному пансиону в Бретани с его мутным сидром и серым пюре ради первоклассного отеля на Лазурном Берегу: здесь все заслуживает оценки «отлично».

Итак, сегодня, 17 июля 1908 года, в годовщину своего назначения учителем истории, Форлоннер садится за столик и даже не смотрит в меню — все заказано заранее: лангуст, цыпленок, ромовая баба и букет цветов на стол. Желтый палец учителя скользит по карте вин: «Принесите мне вот это!» (Он смотрит не на марку, а только на цену — пусть будет самое дорогое!)

— Полбутылки?

— Бутылку!

Форлоннер ест и пьет. Ест и пьет слишком много, вознаграждая себя за все, чем пресытился за двадцать пять лет: за зеленую фасоль, за воду вместо вина, за вечный шум в классе и навязших в зубах «наших предков галлов».

Когда Форлоннер выходит на улицу, солнце светит ему одному, он словно вырос, стал ростом с окрестные холмы и упирается головой в облака. Помяните мое слово: это сулит грандиозные события! Само небо возложило руку на измученную заботами голову учителя... Форлоннер, снимите шляпу!

Вот справа река, она настойчиво зовет: «Идем, Форлоннер, идем со мной!» Дорога — белее, чем мел на черной доске, —

завораживает учителя, и с непокрытой головой Форлоннер пускается в путь. Он входит в поток Времени, он слышит: справа от него гудит История, он ступает по ее извилистой дороге. «Готовься к чудесам, учитель!» Форлоннер готов ко всему.

И вот топот копыт дробит тишину, рысью бежит конь, легко отталкивая вдаль каменный век. Всадник все приближается, и при виде его у Форлоннера перехватывает дыхание: это же «наш предок галл»!

Да, это он, ошибиться невозможно: свисающие усы, длинные волосы. Кто он, простой земледелец? Постойте, постойте... Широкие штаны, плащ из грубой шерсти — это же «бре» и «сагум»! В глазах у галла — воинственный блеск.

— К Ализ-Сент-Рен в ту сторону? — спрашивает всадник.

— Да, — растерянно отвечает господин Форлоннер, а сам думает: «Ализ-Сент-Рен — это же Алезия \*, куда он едет, несчастный! Надо что-то сделать, пусть он предупредит Верцингеторига... или... ума не приложу!»

Ничего не поделаешь, Форлоннер, Время необратимо! У ног учителя поток его течет невозмутимо, но и неумолимо. И Форлоннер бессильно молчит и предоставляет галлу скакать туда, где его ждет гибель, а римлян — победа.

Снова пустившись в путь, Форлоннер сразу чуть не сталкивается с белобородым старцем в светлом плаще и с серпом в руке.

«Друид», — думает Форлоннер и почтительно желает старцу удачного сбора омелы \*\*.

Старик как-то странно смотрит на него и бормочет что-то о траве для кроликов. Это священный бред, он и сам не знает, что говорит!

Взволнованный Форлоннер, пошатываясь, идет дальше

\* Алезия — древняя галльская крепость, где в 52 г. до н. э. состоялось сражение галльского вождя Верцингеторига (72—46 гг. до н. э.) с Юлием Цезарем; сражение было галлами проиграно.

\*\* Галлы наделяли омелу магическими свойствами; на шестой день каждого месяца друиды (галльские жрецы) проводили ритуальный сбор омелы.

по каменистому пути Истории. Вдруг небо покрывается тучами. Налетает ветер. То здесь, то там на дороге взметаются вихри: то клубится пыль веков! Вперед, вперед! Что это за благодатный луг, где деревья еще стоят в цвету, несмотря на июльский зной, где бьет прозрачный родник? И что это за девушка разговаривает с листьями, облаками, ангелами — и вдруг замирает с полуоткрытым ртом, словно прислушиваясь к божественным голосам? На колени, Форлоннер! Это Жанна, Орлеанская дева, та самая, которую твоя радикальная газета не желает считать святой... Но сейчас ты сам чувствуешь, что это святая Жанна д'Арк.

Учитель шепчет: «Милое дитя, только остерегайтесь Компьени, вам нельзя в Компьень — там вас схватят и...»

Пастушка не слышит его: журчание реки Времени заглушает его слова. Все так же невозмутимо течет река, и все ближе жуткие улыбки палачей... С тяжелым сердцем Форлоннер бредет дальше, и каждый его шаг равен веку. Что ждет учителя вон за тем поворотом? Златотканые ковры? Адмирал Колиньи в черном одеянии? Генрих IV в каске с белыми перьями и на белом коне? Ришелье в алой мантии?

Какой ослепительный свет! За холмом скрывалось солнце. Это солнце Версаля, Кольбера, Расина; оно рассыпается в звездных искрах фейерверков Вобана \*. А вот и сам король, господа! Король-Солнце, ему никто не смеет смотреть прямо в лицо. Никто, кроме Орла... И уже кружит над ущельем тот орел и ждет своего императорского часа \*\*...

Мысли Форлоннера путаются, уносятся за облака.

— Желаете полбутылки?

— Бутылку!

Форлоннер готов воспарить, подобно полубогу, ангелу, пророку... Прощайте, люди!

Но тут он замечает, что впереди него по той же дороге

\* Себастьян Ле Претр де Вобан (1633—1707) — маршал Франции, внесший немало усовершенствований в военную науку эпохи, в том числе в артиллерию и пиротехнику.

\*\* Орел — символ императора Наполеона I.

медленно идет человек. На нем черный лоснящийся пиджак, который топорщится на спине, брюки в клетку... Охваченный каким-то странным предчувствием, Форлоннер обгоняет прохожего.

— Да это же господин Лубе, президент Франции!

— Ах, мой друг, неужели вы меня узнали?

(Да как же не узнать: бородавки на лице, борода, солидное брюшко...)

Образованный президент Лубе подхватывает учителя под руку и говорит, говорит, говорит. Он говорит о том, как сладостна власть и как горька отставка, жалуется на людскую неблагодарность и забывчивость.

— Я всего-то два года в отставке. А кто вспомнит обо мне, кто знает, что я живу в этой маленькой деревушке? Меня и при встрече-то вряд ли узнают, а вы, мой дорогой...

Но Форлоннер не слушает его; на лбу учителя выступили крупные капли пота, сердце его бешено колотится: вот она, граница, за которой начинается будущее, раскрываются тайны Истории. Что наступит вслед за Третьей республикой? Что откроется через три шага? Река течет все так же, ни быстрее, ни медленнее, все так же пылит дорога, а Лубе, дружески обняв учителя, увлекает его к запретным временам. Небо взирает на них, нахмурившись тучами. Еще один шаг, Форлоннер, еще шаг — и ты все узнаешь! Ты узнаешь будущее, узнаешь то, чего нет ни в одном учебнике истории... Только один шаг!

Ну уж нет! Он вырывается и со всех ног бросается назад.

— Куда же вы, дружок? Вернитесь, проводите меня еще немного! — умоляет бывший президент Франции.

— Нет! — кричит Форлоннер. Он торопится обратно, он уже бежит назад, к Империи, к крестовым походам, к древним галам. — Н е т , — кричит учитель, — нет, это не входит в программу!

## Блаженны дарующие

Первую встречу со стариком я запомнил лишь потому, что она произошла в канун рождества.

Жизнь моя в ту пору была бесконечно тосклива: я проходил стажировку в юридической конторе, в городе у меня никого не было, и жил я один.

И вот 24 декабря я возвращался домой, и лишь холод гнал меня с улицы, потому что в праздничные дни она становится домом для тех, кто одинок. Я с завистью смотрел на нагруженных свертками прохожих, но если бы не они, я бы остался вовсе без рождества. Ведь все, что мне предстояло, — это кое-как убить время до двенадцати и лечь спать сразу после мессы, так хоть поглядеть на чужие улыбки! Эти счастливицы были живым подтверждением ходячих истин, в справедливости которых я с болью убеждался: например, что праздники — чистая условность и вся прелесть — в их ожидании, а не в них самих. Глядя на многочисленные свертки и радостные лица закутанных в шарфы прохожих, встречая приветливые взгляды, я думал о том, что дарить подарки намного приятней, чем получать, и что люди добры только тогда, когда счастливы. Я пережевывал эти общие места и злился на весь мир, а в первую очередь — на господ бога за то, что он послал на землю своего единственного сына именно в тот день, когда я был совсем один в этом городе, не имея там ни родных, ни друзей.

Но окончательно настроение у меня испортилось после того, как я встретил одного старичка: его просто не было видно из-за коробок, пакетов и свертков всех цветов радуги. Он выглядел очень нарядно и мог служить столь законченным воплощением обывателя, который торопится к праздничному столу в свое благополучное семейство, что мне, признаться, захотелось бросить снежком в его цилиндр. Но я вовремя спохватился, ведь мне не десять лет, и к тому же это было бы не только глупой, но и злой выходкой. Ста-

рый человек заботливо выбрал гостинцы для всех своих близких, каждому свое: разве это не прекрасно? От стыда я едва не предложил ему донести пакеты. Только болезненная гордость удержала меня от этого, и я сравнил себя с одиноким волком или с бедняком, которого нужда сделала гордецом и молчалиником. Снова общие места...

Город наш небольшой, и четыре месяца спустя, в пасхальное воскресенье, я по воле случая опять встретил того же старичка. Я увидел его в кондитерской, где он с видом кревоугодника придирчиво и долго выбирал пирожные.

Он растрогал меня чуть не до слез — должно быть, и весна подействовала. Несмотря на свою печаль и одиночество, я не смог сдержать улыбки, представив, как он сейчас придет и обрадует всех домашних.

Должно быть, он заметил меня через стекло витрины, и на его лице неожиданно промелькнуло жалкое, затравленное выражение. Я отошел от витрины в некотором замешательстве.

Потом я совершенно забыл о старичке с пирожными, но тут снова подошло рождество и принесло в этот чужой, враждебный мне город снег, колокольный звон, веселую суету прохожих и свертки, перевязанные разноцветной тесьмой. Но к тому времени я уже свыкся со своим одиночеством, боль притупилась, и я умилялся, глядя на все это. Вышло ли это случайно, или я бессознательно искал новой встречи, но только я снова увидел моего старичка у входа в магазин подарков. В руках у него ничего не было. «Прекрасно! — подумал я. — Не стать ли мне сыщиком? Буду следить за ним весь вечер. Может, это научит меня заботливости и щедрости. И если у меня когда-нибудь будут семья и дети, я тоже смогу устроить им настоящий праздник...»

И вот я пошел за ним; я и сейчас готов расплакаться, вспоминая, как у него разбегались глаза, как старательно он выбирал подарки: «Это для девятилетней девочки, но она, знаете ли, настоящий мальчишка в юбке». Или: «Чем больше

шоколада, тем вкуснее. Много и еще чуть-чуть — в самый раз для детей, верно я говорю?» Гора свертков росла у него в руках. Помню, как он попросил написать на шоколадном торте кремом чье-то имя; иногда он закрывал глаза и пересчитывал в уме своих подопечных, чтоб никого не обделить... Я представлял себе, сколько народу будет за столом, но уже не завидовал старику: единственное, чего мне хотелось, — это чтобы и меня усадили в уголок, как нищего сиротку, ведь в тот вечер я и правда был нищ и убог. Я больше не роптал на судьбу.

Я проводил старика до самого дома на улице Сен-Вьянне и потом долго еще стоял у закрытой двери, под освещенными окнами. Наверно, именно в эту рождественскую ночь у меня появилось желание — нет, скорее потребность — тоже обзавестись семьей, детьми и самому почувствовать предпраздничное волнение и радость дарить подарки.

Я вспомнил о старике, когда в какой-то газетенке наткнулся на статью под заголовком «Загадка улицы Сен-Вьянне» и прочел: «Смерть наступила уже давно, но тело обнаружили только вчера. Господин Д. жил один, он был вдовцом, потерял всех своих детей и уже много лет ни с кем не общался. В его квартире оказалось невероятное число кулек, игрушек, сладостей, бутылок и нераспечатанных свертков. Полиция сначала решила, что тут дело нечисто, но дознание показало, что это всего лишь необъяснимая странность...»

## «Мсье»

Во время пожара в цирке не происходило ничего особенного, если не считать того, что ученый пес, сидя в центре арены на еще не тронутой огнем тумбе, кричал: «Женщин и детей пропустите вперед!» — хотя его никто не слушал.

Несколько дней спустя после пожара, когда Эдгар возвращался из школы зябким декабрьским вечером, он увидел у дверей большого дома дрожавшего от холода пса. Прохожие не обращали на него внимания, торопясь вернуться домой, в тепло. Эдгар остановился и погладил пса.

— У тебя нет ошейника, бедолага! Плохо без хозяина зимой. Пойдем к нам. Я дам тебе поесть и устрою в корзинке у камина. Пойдешь?

— Нет, спасибо, — ответил пес.

Эдгар пожал плечами и пошел своей дорогой. Только завернув за угол, он сообразил, что произошло нечто удивительное. Он тут же побежал обратно, потом позвал: «Мсье!»

Но Мсье уже не было; тогда Эдгар, сгорая от любопытства, пошел по его следам, похожим на четверки т р е ф , — одна, еще одна и еще... Следы привели мальчика к лачуге на окраине городка. Эдгар заглянул в щелку, и вот что он увидел.

В одном углу лошадь занималась счетом; в другом пели два селезня; две маленькие собачки ходили по комнате на передних лапах; одна обезьяна, наряженная горничной, занималась уборкой, другая притворялась, что читает газету, а Мсье, сидя на обгоревшей тумбе, курил трубку.

Эдгар долго рассматривал этих спасшихся цирковых актеров. Возвращаться домой совсем не хотелось — жизнь без этих чудесных зверей, которые умеют курить, читать, подметать, казалась ему скучной.

На следующий день он снова пришел к лачуге, но не один, а со своим лучшим другом Альбером, который поклялся хранить все в тайне.

Через день Альбер пришел туда уже без Эдгара, зато со своим лучшим другом, а тот на завтра привел своего лучшего друга, и пошло, и пошло... Надо полагать, беда случилась только потому, что Эдгар не был лучшим другом своего лучшего друга, Альбера, а то тайна осталась бы между ними. Цепочка «лучших друзей» привела к одному бездушному человеку, который быстро сообразил, какую выгоду можно извлечь из этих зверей.

Эдгар был очень огорчен тем, что лачуга внезапно опустела, а когда в город приехал новый цирк, он пошел на его представление. После неловкого жонглера и поднявших тучу пыли акробатов появились дрессированные обезьяны, которые насмешили всех, кроме Эдгара. Поющие селезни заставили его побледнеть, а когда вышла считающая лошадь, сомнений не оставалось.

В антракте Эдгар, вне себя от гнева, побежал к директору цирка.

— По какому праву вы завладели этими животными?

— Но я их честно купил — вот расписка! Кстати, меня порядком надули с этим вот п с о м , — Эдгар узнал Мсье! — он только и знает, что целый день курит свою трубку, настоящий бездельник... Вот пусть и делает самую грязную работу, мерзкая тварь!

Наконец хозяин ушел, и мальчик остался наедине с псом.

Эдгар прошептал, наклоняясь к Мсье:

— Пойдем, пойдем!.. Пойдемте!..

— Это вы нас продали, не так ли? — спросил пес.

— Нет, нет, клянусь вам! Я просто проболтался.

— Кому довелось увидеть рай, тот должен помалкивать, — сказал п е с . — Прощайте.

И он повернулся к Эдгару спиной.

У мальчика не хватило сил досмотреть представление до конца. Но не успел он отойти от шатра, как услышал страшный крик: «Пожар! Пожар!» — и увидел, что цирк вспыхнул. «Это он! Конечно, это он! Мерзкая тварь, этот пес со своей трубкой, — кричал директор, — он нарочно поджег канистры с бензином! Спасайся кто может! Женщин и детей...»

Закончить он не успел: цирк превратился в огромный, затрепетавший на ветру факел, и никто не вышел живым из этого ада.

## Господин Стефан уже не видит снов...

Когда господин Стефан встречался с друзьями, их беседы чаще всего вертелись вокруг трех тем: многоженство, французская кухня и воспоминания детства.

— Вот самое давнее мое воспоминание, — говорил господин Стефан, полуприкрыв глаза. — Я на руках у кормилицы, она заворачивает меня в одеяльце и спускается со мной в погреб. Что за погреб, я понял только потом: это было в первую мировую, Париж бомбили, ну, в общем, понятно?..

Он выжидал, пока кто-нибудь спросит: «А, убежище?» Кто-нибудь спрашивал: «А, убежище?» — и он продолжал:

— Именно. И это самое первое, что я запомнил, а вы?

Но рассказы других он не слушал.

Как и всем смертным, Стефану снились бессвязные истории, и, проснувшись, он помнил лишь какие-то обрывки.

Однажды утром он открыл глаза в некоторой тревоге: ему снилось, что его, закутанного в одеяло, сносят вниз по бесконечным лестницам в подzemелье... Убежище...

Некоторое время спустя он заново пережил во сне свой первый день в школе, потом — первое причастие, первые каникулы в горах, смерть матери — в то утро он проснулся в слезах.

Постепенно господин Стефан понял, что он видит по ночам события своей жизни, причем во всех подробностях и в естественной последовательности. Как будто его второе существование — а по сути дела, то же самое! — было запущено вновь, через тридцать лет после первого... Но ночная жизнь господина Стефана, неподвижно лежавшего в постели, раскручивалась в ускоренном темпе: за несколько ночей он проживал целые годы. Потом только недели, месяцы и, наконец, дни.

Господин Стефан, как и многие люди, не очень активные, но перегруженные делами, имел обыкновение записывать в блокнотик распорядок каждого дня. Таким образом ему

легко было проверить точность своих снов, а также проследить развитие этого второго существования, мало-помалу нагонявшего первое, то есть реальное. Он вошел в азарт; нечто подобное происходит на скачках, когда один из участников, появившись с дальнего конца ипподрома, с каждым броском лошади отвоевывает расстояние и нагоняет идущего впереди.

Однажды ночью господину Стефану приснились события прошедшего дня; получилось, что он прожил его дважды в течение двадцати четырех часов... С интересом ждал он следующей ночи: пойдет ли и дальше так, день в день? И ночью ему будет теперь сниться то, что было днем?

Но в эту ночь господину Стефану снилось, что ему снится сон.

Он не сразу понял, что это означает: его ночное существование догнало наконец дневное. Пути двух светил пересеклись, и наступило затмение...

Назавтра он увидел во сне какие-то неизвестные ему события... Но на следующий день так все и произошло.

И тогда его сердце сжалось в страшной тревоге — и как он раньше не догадался! Все было так логично! Сначала прошлое. В минувшую ночь настоящее. А теперь будущее. Он начал записывать в блокнотик все, что видел ночью. Иногда это были события одного дня, но чаще двух или трех, а порой и целой недели. Он все записывал. А потом переживал это наяву. Встречи, поездки, происшествия — сны никогда не обманывали его.

Господин Стефан стал нервным и мрачным. Он отказался от встреч с друзьями, от привычных развлечений, теперь он не мог позволить себе никакой самостоятельности, никаких капризов, ни малейшего изменения планов, он стал рабом своих сновидений и безоговорочно подчинился им. Каждое утро он прочитывал в блокнотике распорядок предстоящего дня и принимался все исполнять, пункт за пунктом. Некоторое хладнокровие наверняка помогло бы ему вырваться из заколдованного круга или, на худой конец,

извлечь из всего этого хоть какую-то выгоду — право, не знаю, каким образом, но, подумай он хорошенько... уж как-нибудь...

Наконец в одну прекрасную ночь господину Стефану вообще не приснился сон.

Однако это не помешало ему и в этот день следовать предсказаниям своего блокнотика. Правда, ничего нового он не смог туда записать и ждал грядущей ночи с опаской и любопытством. Увы! Ему опять ничего не приснилось... И в следующие ночи тоже... «Слава богу, — подумал господин Стефан, — я больше не буду видеть сны. И начиная с восьмого мая — ведь мой блокнотик заполнен только до этого дня — я наконец смогу жить как хочу! Свобода, свобода... Нет! Избавление...»

Но и на этот раз господину Стефану не хватило воображения, а более всего логики, и он неверно истолковал ночное предупреждение. Поскольку на самом-то деле утром восьмого мая, после заключительной ночи без снов, на пороге первого свободного дня господина Стефана не стало.

## Птаха

На одном из зданий Французской академии в Париже, возле самого окна, среди зарослей дикого винограда, торчал из стены конец трубы такого диаметра, что его можно было обхватить большим и указательным пальцами. Никто не знал, что это за труба и для чего она могла быть нужна, да никто и не замечал ее. Но каждый год в ней устраивала гнездышко одна маленькая птичка; она как раз умещалась в трубе, совсем как пуля в стволе ружья, и чувствовала себя в ней так спокойно, так безмятежно, что целыми днями беспечно распевала во все горло. Старый служащий, работавший у этого окна, приоткрывал створку, чтобы слышать ее пе-

ние: это было первое, что он делал, входя утром в кабинет, и последнее слово «до свидания» он тоже шептал птичке вечером, перед тем как уйти.

Но однажды пришли рабочие чинить проходившую по этой стене водосточную трубу и... «Раз уж вы здесь, уберите-ка заодно этот никому не нужный кусок трубы!» На следующий день после ухода рабочих старый служащий ни на чем не мог сосредоточиться — он даже решил, что заболел. Лишь несколько дней спустя, выглянув в окно, понял он причину своего недомогания и дурного настроения...

«Ах ты черт! Черт!»

Он утер вспотевший лоб. «Черт! Черт!...» Сорок лет проработал он здесь, и сорок лет все шло хорошо, все оставалось неизменным: ежедневно, как только приходила почта, он разбирал одно и то же число писем, сортировал служебные записки, изучал досье... Сорок лет — и вот сегодня...

Он снял очки, шапочку, нарукавники и, ничего не говоря своим старым коллегам, так как боялся сорваться, спустился по лестнице и пересек двор, намереваясь обратиться с жалобой в главный секретариат. Но на полпути сообразил, что жалоба его может показаться просто чудачеством и все равно не вернет ему пения птички. Он возвратился на свое место, с трудом досидел до вечера и — впервые за сорок лет — ушел с работы на двадцать минут раньше: этого времени ему как раз хватило, чтобы по мосту Искусств выйти на набережную Мессижери и найти там лавку продавца певчих птиц. Прослушав всех птиц одну за другой, он остановил свой выбор на той, чье пение больше всего напоминало ему голос утраченного маленького друга, и унес ее в ивовой клетке, на ходу просовывая меж прутьев свой старый пожелтевший палец: «Тц... тц... тц...»

Если накануне он ушел раньше всех, то на следующий день он явился на работу первым, вывесил клетку с птичкой за окно, налил воды, насыпал проса, положил косточку каракатицы и стал ждать. Птичка осмотрелась на новом месте, обследовала свои тесные владения, подергала клювом

виноградные листья, попробовала, как звучит здесь, в одиночестве, ее голос, — и затянула свою песенку. Старый служащий улыбнулся, подмигнул коллегам — и к нему опять вернулись хорошее настроение и усердие.

Вплоть до того дня, пока один Большой начальник, проходя по двору, не сделал замечания:

— Эта ивовая клетка портит вид, Французская академия — не будка привратника, а рабочий кабинет — не мансарда гризетки...

Большой начальник — возражения бесполезны! Клетку пришлось убрать.

Через некоторое время, не в силах более выносить скуку бесконечно длинных дней, старый служащий ушел на пенсию. К несчастью, он был единственным, кто понимал почерк одной из своих коллег, и после нескольких инцидентов той тоже пришлось уволиться.

Но за двадцать лет работы она научилась выговаривать слова так, что сидевший напротив нее служащий, будучи совсем глухим, понимал ее по движению губ. Потеряв единственную переводчицу и став совсем беспомощным, он, в свою очередь, тоже вынужден был уйти.

А между тем лишь он один по-настоящему разбирался в архивах, и результатом последовавшей за его уходом неразберихи явилось увольнение — причем не обошлось без взаимных оскорблений, каких еще не доводилось слышать этим старым сводам, — одного дельного, но вспыльчивого служащего. А поскольку он был корсиканцем, то за ним, из гордости, последовал и его брат.

Он счел для себя делом чести уйти немедленно, не передав никому своих обязанностей, заключавшихся в том, чтобы следить за состоянием помещений. Таким образом, здание, и без того довольно ветхое, на какое-то время осталось без присмотра. С началом октябрьских дождей (в это время старый служащий обычно наслаждался пением своего маленького друга) желоба на крыше засорились, потолки протекли, полы осели, а стены потрескались. На это не

обращали внимания; так бывает и с человеком: когда в нем поселяется смертельный недуг, это тоже не сразу замечают.

Когда спохватились, исправить что-либо было уже невозможно. Установили высоченные леса, подперев ими стены, во многих местах менее надежные, чем сами леса, и снесли все, что грозило рухнуть.

Государственные архитекторы, в течение нескольких веков не обращавшие на это строение никакого внимания, теперь обнаружили в нем столько чердаков, закоулков и подсобных помещений — «потерянной площади», как они говорили, — что Министерство изящных искусств, жаловавшееся на тесноту, вынуждено было оборудовать их для своих нужд. У Французской академии было на этот счет свое мнение — и целые армии юристов и архивариусов принялись строчить докладные записки, отстаивая ее права; противная же сторона усиленно разрабатывала свои планы; соперники обменивались бесчисленными посланиями на разноцветных бланках. Между тем работы были приостановлены, и строительные леса постепенно приходили в негодность.

Дело было передано в Государственный совет, который должен вынести решение лишь через несколько лет. Иногда по ночам оседают перегородки и обрушивается обветшавшая часть стены.

Иногда появляется во дворе старый человек, чье лицо кажется сторожу знакомым; он подолгу смотрит на полуразрушенное здание и качает головой.

А иногда над развалинами пролетает, распевая свою песенку, крохотная птица.

## Четверть первого

Не прошло и трех часов, как Лоранс, бабушка и служанка легли, и вот снова раздался тот же, что и прошлой

ночью, шум. Каждая у себя в комнате посмотрела на часы: четверть первого. Четверть первого показывали и часики со светящимися стрелками на белой руке Лоранс, и карманные часы, висевшие на лиловой ленте в изголовье бабушки, и большой будильник, скрашивавший громким бор-мотаньем одиночество служанки.

«Может, зажечь лампу и предупредить госпожу? — подумала служанка. — Нет уж! В таких случаях лучше сидеть тихо как мышь! Этот вор, видно, думает, что в доме никого нет. Иначе не шумел бы так. Оно и к лучшему. И все-таки надо бы... Ох нет! Или вот что, встану и закроюсь на ключ: он подумает, что это чулан со всяким хламом... А вдруг ему, наоборот, взбредет в голову, что здесь хранится что-нибудь ценное? Может, он не пропускает ни одной запертой двери? И на ком, как не на мне, выместит он тогда свою злобу и досаду? Ясное дело! Мало того, что целый день надрываешься, пока эти барыни прохлаждаются, так еще и ночью вместо них шею подставляй. Меня-то ему с какой стати убивать? Мы с ним из одного теста... Ну, это я, пожалуй, лишкухватила. Хотя... Он бы не стал воровать, не будь он гол как сокол. А что есть у меня? Три несчастных облигации железных дорог да обручальное кольцо... И то, как пить дать, фальшивое! Зачем оно вам? Это ж все равно что отбирать гроши у нищего! А здесь только письма, документы... Ну да, несколько ассигнаций — все мои сбережения за тридцать лет... Не станете же вы... Ну хоть половину-то мне оставьте! А вообще-то столовое серебро — там, внизу — стоит в десять раз больше! В правом ящике комода, около камина, могу показать... Тьфу ты! Что это я плету?.. Так запирает дверь или нет? Похоже, шум где-то наверху. На чердаке, что ли, шарит? Ничего он там не найдет. А жаль. Говорят, если их не спугнешь, они не тронут. Спрячусь-ка я под одеяло... Где мои четки? Лучше всего постараться заснуть... спать... спать...»

Через комнату от служанки старая женщина зажгла на минутку лампу на ночном столике — четверть первого. Она широко раскрыла глаза — после яркого света темнота казалась еще гуще — и молитвенно сложила руки.

«Эдуар, — шептала она, — мой любимый, единственный, явись ко мне хоть на этот раз!.. И зачем я осталась жить после тебя? Сама не знаю... Удержали дети, привычка, малодушие... И потом, я верила, что умру от горя, что это случится само собой, что я не выдержу одиночества. Прости меня за то, что я дожила до старости без тебя... Я уже больше тебе не гожусь. Но все-таки приходи ко мне, Эдуар! И заключенные, и удалившиеся от мира монахи имеют право на свидание с родными. Если тебя не дозволено видеть, я закрою глаза и буду только слушать, слушать твой голос... Все думают, что я глухая старуха, у которой сердце бьется лишь по привычке. Только ты один знаешь меня. Назови меня, как прежде, своей суженой!.. В прошлом году, Эдуар, упало наше дерево. Как же ты, настоящий хозяин дома, допустил это? Дорогой мой, не лишай меня последних свидетелей нашей любви! Или забери сначала меня!.. Все спят, я одна. Явись, Эдуар! Заклинаю тебя! Ну почему один шум, и все? За что мне это наказание? Чего стоит величайшая на свете любовь, если время и тьма сильнее ее? А может быть, ты разлюбил меня? Дай мне какой-нибудь знак, кроме этого шума! Докажи мне, что время не властно и над твоей душой. Чего еще ты ждешь от меня? Вот уже тридцать лет я живу заброшенной и одинокой, но никогда не давала волю слезам. А теперь, смотри, я плачу в первый раз... плачу...»

Лоранс села в кровати. Сердце сильно забилося в груди. «Наконец-то!» Она поднесла к уху часы, послушала их похожее на шепот сообщника тиканье и только потом посмотрела на циферблат: четверть первого.

«Он не сказал, когда придет, — думала она, — но сейчас — самое время. Только зачем же так шуметь... А впрочем,

ерунда: бабушка глухая, а служанку пушками не разбудишь. Он так и говорил: «Когда девушку держат под замком, ее остается только выкрасть». А оркестр играл «Ах, этот вальс»: трам-па-па, трам-па-па, ах, этот вальс... «Выкрасть!» Нет, таких слов на ветер не бросают. Да все было ясно и без слов: он сжимал мне руку, касался губами лба — это вернее любого обещания... Собрать чемодан? Или лучше не надо? Нет, лишняя пруть тут ни к чему. Он, конечно, хочет явиться неожиданно. Нужно просто продумать, что захватить с собой, чтоб не возиться... Но он что-то мешкает! Впрочем, такова его обычная манера, и именно в этом его неотразимость. Как смотрел он мне в глаза, когда узнал меня на втором балу! А шел все равно медленно-медленно... «Выкрасть!» Все-таки я не думала, что у него хватит смелости... Только бы... А впрочем... Мы выйдем через кухню! Нет-нет! Может быть, через окно гостиной? Тогда лучше надеть широкую юбку... Хотя мне больше идет... Ну все равно, только не через кухню... А что скажет бабушка? Э, да она не такой сухарь, как думают. Иначе ее Эдуар не женился бы на ней... Бедная бабушка!.. Но мой отъезд ничего не изменит в ее жизни: огород, виноградники, обед ровно в двенадцать, а в девять, зевая: «Не пора ли нам, девочка...», рыба по пятницам, уборка дорожек в саду по субботам, месса по воскресеньям. Нет, хватит с меня: такая жизнь — для старух, вдов и служанок, а я больше не могу!..

Но почему его до сих пор нет? Неужели он приходил сегодня только на разведку?.. А вдруг садовник примет его за грабителя? Боже мой, надо его предупредить. Может, он ждет, что я открою окно?.. Нет, нет! Это все испортит. Как это будет выглядеть! Он прав (а какого цвета у него глаза — я забыла!) — он прав: нужно быть осторожным... «Когда девушку держат под замком, ее остается только выкрасть...» Под замком! Если бы он знал... Когда же следующий бал? Кажется, скоро... Только бы он не надел маску! А то я не выдержу и расхожусь... Теперь он уже знает сад и окрестности: сейчас он опять уйдет, но завтра... завтра... завтра...»

Прошло несколько минут, и две совы, которые, облюбовав эту крышу для своих забав, прилетали сюда каждую ночь в четверть первого, наконец снялись и, тяжело хлопая крыльями, улетели прочь.

## Президент Бруардель

Темперамент Эмиля Бруарделя очень вредил его карьере: будучи чиновником, он позволял себе проявлять твердость характера там, где его коллеги ограничились бы недовольным ворчанием. Властный, дерзкий, вспыльчивый и далеко не глупый, Бруардель никогда бы не добился даже той ничтожной должности, которую занимал, если бы не его склонность — нет, даже страсть — к порядку. Все его действия были расписаны по минутам, и это было единственное достоинство, отмеченное в его личном деле в министерстве. Свои мечты, замыслы, вспышки гнева — все проявления его личности он ухитрялся втискивать в незыблемые рамки распорядка дня: подъем, приход в министерство, обед, обязательная сигара после еды, мытье рук и т. д. Он спал с девяти вечера до семи утра, а если недосыпал хотя бы пяти минут, то должен был во что бы то ни стало «наверстать» их в течение дня.

При таком образе жизни только два события должны были нарушить привычное течение его дней: выход на пенсию и смерть. Но случилось так, что однажды вечером он соблазнился пойти с приехавшими из провинции друзьями на спектакль, потом в кабаре, разгулялся и провел всю ночь вне дома. Когда же на следующее утро Эмиль Бруардель оказался у себя и часы пробили семь, то перед ним встала беспощадная дилемма: либо проспять весь день, либо, не выспавшись, идти на работу. Оба варианта были одинаково неприемлемы, он ни на что не мог решиться, а тело без его

ведома приняло единственно возможное решение: он лег, заснул, но тут же встал, оделся и отправился в министерство: он стал сомнамбулой.

Человек с закрытыми глазами не обязательно спит, а спящий не обязательно закрывает глаза. Так бывает со многими сомнамбулами, так было и с Эмилем Бруарделем. С этого дня жизнь его перевернулась, и не в его силах было восстановить прежний распорядок: ночью он бодрствовал, днем спал с широко открытыми глазами и вел внешне обычный образ жизни. Впрочем, не совсем обычный. Ведь его мечты, замыслы, вспышки гнева оставались в его сновидениях. Властность, вспыльчивость, дерзость и ум могли проявляться отныне только ночью. Днем он был молчаливым, покорным, соглашался на все, как и полагается сомнамбуле. Именно это круто изменило его жизнь. Начальники, которые раньше не могли смириться с неуравновешенным характером Бруарделя, наконец заметили, что он несправедливо обойден, и стали быстро продвигать его по служебной лестнице. Карьера была головокружительной. Что он неглуп, знали и раньше, а теперь оказалось, что он к тому же покладист, скромн, не честолюбив: его стали ставить в пример. Сомнамбуле вручили академические пальмы и орден Почетного легиона: «Как? Неужели он до сих пор не получил?»

Вскоре о нем заговорили те деловые люди, которые вьются вокруг продажных чиновников, подобно мухам над мусорной ямой. Бруарделя сделали управляющим маленьким филиалом: его хотели проверить в деле. Спящий, естественно, согласился. На совещаниях он сидел с туманным взглядом и улыбкой на губах. «Слушай, он же нам очень подходит...» Его оценили в Тресте. Вскоре он стал заседать в трех, семи, двадцати советах; его избрали Президентом; он предоставлял слово и ставил вопросы на голосование в высшей степени корректно и совершенно бесстрастно. Поскольку Трест намеревался использовать его в морской торговле, то именно в этой области Эмиль Бруардель сделал

карьеру. Кочегары, докеры, моряки, рискующие жизнью, — все отныне почтительно снимали шляпу при одном упоминании имени Президента Бруарделя. По мере его продвижения имя Президента Бруарделя присвоили сначала маленькому тральщику, затем буксиру, грузовому судну, и, наконец, самому большому пассажирскому кораблю в мире.

В Тресте решили, что люди с чувством долга, подобные Президенту Бруарделю, должны принимать непосредственное участие в управлении страной. Спящий согласился. Ему купили избирательный округ; он стал депутатом, сенатором, вице-президентом, затем президентом Верхней палаты Национального собрания и, наконец, как и полагается по логике вещей, Президентом Республики. Туманный взгляд и улыбка сомнамбулы великолепно выглядели на обложке журнала «Иллюстрасьон», на стенах школ и полицейских участков. Его редкие выступления были невыразительны; половина избирателей была разочарована, другая восторгалась: «Наконец-то у нас молчаливый президент, президент-мыслитель! Достаточно увидеть этот задумчивый взгляд, эту философскую улыбку... И притом, такая изысканность манер!» Как известно, со времен Феликса Фора ни один президент не умел носить фрак... Поэтому из Президента Бруарделя сделали экспортный товар. После визита этого человека, не менее элегантного и еще более молчаливого, чем сам английский король, Французский Банк получил от правительства Великобритании долгожданный и весьма существенный кредит. А поскольку он был заранее растрочен, то Президента Бруарделя отправили в Америку. Именно это путешествие все погубило...

Ибо разница во времени между Новым и Старым Светом вернула Эмилю Бруарделю без его ведома ночь, которой ему не хватало. Отныне он бодрствовал днем и спал ночью: конец сомнамбулизму! Его личность, его смелость и острый ум проявились снова, вызвали тревогу и беспокойство. В парламентских и банковских кулуарах поползли слухи. Меньше чем через полгода Эмиль Бруардель, попавшись

несколько раз в хорошо известные (всем, кроме него) ловушки, вынужден был уйти с поста Президента Республики, не был переизбран сенатором, потерпел поражение на парламентских выборах, был снят с должности управляющего и получил право уйти на пенсию.

## Зеркало

Его проводили до самого дома. Только из сочувствия? Возможно, друзья и вправду думали, что ему будет плохо одному... Но главное — расставшись с ним, они уже не казались себе счастливыми, мимо которых смерть прошла стороной. А пока рядом был «бедный Альбер» с покрасневшими глазами, в черном костюме, они вдвойне ценили свое пресное благополучие.

Бедный Альбер в последний раз кивнул, в последний раз вздохнул, подняв очи горе, бессильно развел руками в дешевых черных перчатках и закрыл за друзьями дверь. Когда их шаги затихли, он отшвырнул дурацкую шляпу с черной лентой, поспешно сорвал перчатки, словно они жгли ему руки, и расслабил мышцы лица, как клоун после выступления.

Он не сел, а почти лег в самое глубокое в гостиной кресло, но тут же снова вскочил и сдернул чехол, который не снимали ни зимой, ни летом, — может, эти чехлы и оберегают сиденья от пыли, но что толку, если они сами такого пыльно-серого цвета. Он придвинул друг к другу два обнаженных кресла, уселся в одно, положил ноги на другое и закурил...

— Лучшая сигарета за всю мою жизнь! — прошептал он, щурясь от удовольствия, будто кот на солнышке.

Альбер бы, верно, замурлыкал, если бы мог...

Фернанда умерла... И умерла первой! Вот что особенно приятно. Целых пятнадцать лет она твердила:

— Когда тебя не станет...

Сама себя жалела и других тоже хотела разжалобить. Но достаточно было обыкновенного насморка, обернувшегося гриппом, который перешел в пневмонию, — и вот супруг Фернанды стал «бедным Альбером». Впрочем, она всегда звала его так.

— Бедный мой Альбер, ты, видно, никогда не научишься составлять букеты!

Или стелить постель, или мыть посуду, или обрезать розовые кусты. Бедный Альбер ничего не умел.

«Зато я сумел ее пережить!» — думал он теперь, и от этой мысли ему хотелось смеяться. Отныне это царство принадлежит ему одному; пусть громоздятся горы грязной посуды, увядают в вазах цветы, зияет неубранная, развороченная постель — он счастлив впервые в жизни. В шестьдесят лет это вполне позволительно; в самом деле, не слишком ли жестоко он был наказан за то, что когда-то в порыве безрассудной страсти женился на злой и глупой женщине? Ведь он в течение тридцати лет расплачивался за минуту слабости! Полноте, Фернанде давно пора было умереть, он с ней в расчете. Теперь Альбер будет жить без угрызений совести, без чехлов и без вечных попреков. Хотя подруги Фернанды уже всполошились:

— Бедный Альбер! Вам нельзя оставаться одному...

Еще чего! Выдумали тоже. И без вас обойдусь! Никаких вязальщиц в его царстве больше не будет. Говорят, у медведей жестокая ухмылка. Нет, не жестокая, а довольная. И он заживет, как медведь.

Уже три недели он жил, как хотел, и каждое утро, обнаружив, что лежит в постели один, просто урчал от радости. Три недели он брился по утрам перед зеркалом в гостиной («Испортишь мебель!») — отсюда он вволю мог любоваться синицами, порхавшими по саду («Противные птицы, обжоры, да еще спать по утрам не дают!»). Вот и в то утро

он брился себе в гостиной... и вдруг замер, пораженный в самое сердце: в зеркале появилась Фернанда.

Он закрыл глаза, снова открыл — нет, ему не почудилось. Резко обернулся: на пороге стояла Фернанда с двумя чемоданами в руках. Вернее, женщина, удивительно на нее похожая, такая, какой Фернанда была в тридцать лет. Он словно онемел. Впрочем, незнакомка и не дала ему раскрыть рта. Она поставила чемоданы, подбежала, бросилась ему на грудь (он, кажется, узнал запах духов), зарыдала и разразилась целым потоком слов (о, тот самый голос!):

— Альбер, милый Альбер... Вы позволите называть вас так? Мы не родственники, но теперь у вас никого нет ближе. Вы не знаете меня, но уже, наверно, поняли: я ее дочь, я Жермена... Она вам ничего не рассказывала обо мне? Не говорила, что у нее есть дочь? А х н е т , — воскликнула она, прежде чем Альбер успел удрученно покачать головой, — она слишком вас уважала! Она не смела навязывать вам свое прошлое, даже зная вашу благородную душу. Да, я ее внебрачная дочь... Мне пришлось столько выстрадать! — Ну вот, снова слезы, хотя они и не мешают ей продолжать. — Бедная мама, она ведь тоже страдала. — Это их любимое слово! — Она писала мне тайком. О, она должна была сказать вам правду. Вы имели на это право. А я заменила бы вам родную дочь — ведь у вас не было детей. Я бы ухаживала за вами, угождала вам... Но еще не поздно: я приехала вовремя — утешить вас, заменить маму. Ее смерть разбила вам сердце, моя жизнь тоже разбита — будем страдать вместе! — Опять! — Альбер, папочка Альбер, как я буду вас баловать в этом доме, где все напоминает о нашей дорогой усопшей, в ее доме, где и я себя чувствую как дома... Вы молчите, милый Альбер? Можно мне вас так называть?

— Д а , — тупо ответил он, как и тридцать лет тому назад.

Альбер и не заметил, как на креслах снова появились чехлы, в вазах — свежие цветы, а власть стала потихоньку ускользать у него из рук. Ведь его жизнь озарило закатное

солнце: с ним обращаются ласково. Слишком ласково! Делая все по-своему, Жермена в то же время ублажала его как могла. Больше того — сев поближе, она клала свою руку на руку смущенного Альбера и, улыбаясь, смотрела на него долгим взглядом. Она примирила его не только с тенью Фернанды, но и с самим собой: во всяком случае, теперь он понимал, почему тридцать лет назад женился на той женщине. Долгое озлобление начисто стерло в его памяти первые месяцы их любви, и он, случалось, удивлялся в душе: «Как же я мог?..» Нет-нет, тогда она была столь же привлекательна, как сейчас ее дочь; он думал о ней каждую ночь и желал ее — разумеется, Фернанду. Фернанду? Но не Фернанда, а Жермена ластилась к нему. Он теперь не «папочка Альбер», а «милый, милый Альбер». А ее он зовет «моя кошечка». В первый раз она укоризненно протянула:

— О, Альбер!

— Ну что тут плохого... моя кошечка?

— Как вы молоды для своих лет! Наверно, вы такой сильный! — говорила она.

Или еще:

— Мне иногда хочется говорить вам «ты»...

А однажды вечером, перед сном, она сказала:

— Вы как будто мой муженек!

И он дрогнувшим голосом ответил, как в детской игре:

— А ты — как будто моя женушка!

Она пожелала ему спокойной ночи и поцеловала в щеку — почти в губы.

Раздеваясь у себя в комнате, Альбер заметил, что весь дрожит. Он боялся взглянуть в зеркало, не желая увидеть грузного шестидесятилетнего мужчину. Это прежний, молодой Альбер надел шелковую пижаму и халат, купленный в Венеции тридцать лет назад, и отправился к Жермене, хотя ноги у него подкашивались, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. Подойдя к ее комнате, он постучал в дверь.

— Кто там? — отозвался сонный голос.

Не отвечая, он вошел и приблизился к постели. Жермена

зажгла ночник. Он увидел распущенные волосы, прозрачную рубашку с глубоким вырезом... Такой бывала Фернанда в те единственные упоительные мгновения его жизни, когда им овладевало желание (и само-то слово они давным-давно забыли)... Он обнял эту живую, желанную плоть:

— Моя кошечка!

И получил сразу две пощечины.

— Вы с ума сошли! Убирайтесь!.. Ах, мамочка! Бедная мамочка...

Она закрыла лицо руками и расплакалась. Ее красивые плечи, тугая нежная грудь сотрясались от рыданий. Он стоял как зачарованный, взирая на эти недоступные сокровища...

— Простите... — пробормотало н . — Я думал... Мне показалось...

Альбер отступал пятясь: он в один миг снова превратился в грузного старика, однако надеялся так сохранить более достойный вид. Натыкаясь на мебель, он кое-как добрался до двери, открыл ее и выскочил в коридор.

Довольно трудно долго притворяться плачущей. Как только Альбер вышел, Жермена опустила руки: лицо ее было спокойно, глаза сухи.

Она застегнула ночную рубашку, улыбнулась. У нее мелькнула мысль, не запереть ли дверь на ключ... да нет, совершенно излишне. Между тем бедный шестидесятилетний Альбер сидел в своей комнате на краешке кровати и боялся даже подумать, как он навредил себе этим ночным визитом. В мозгу мелькали обрывки бесполезных оправданий: «В конце концов, она мне не родня. Я имел полное право... Ничего страшного...» О последствиях он тоже старался не думать. Но завтра — что же будет завтра? Как себя вести, а главное — как поведет себя она? Он знал, что уже не уснет и что эти беспорядочные мысли, горькие сожаления — вся эта ерунда будет вертеться у него в голове до самого утра. Машинально он снял халат и шелковую пижаму, свернул и положил на верхнюю полку шкафа, к вещам, которых не

надевал и никогда больше не наденет, а потом снова влез в свою пижаму с пузырями на коленях — в свое еженощное, привычное старье, в свою медвежью шкуру. «Моя кошечка!» — произнес он снова, сам не зная, хочется ему смеяться или плакать, и, чтобы не видеть себя больше, погасил свет.

Утром, спустившись вниз (хочешь не хочешь, пришлось!), он почти удивился при виде Жермены, ибо бессознательно готовился к встрече с Фернандой. А Жермена так же мила, как и вчера! Конечно, о «кошечке» не может быть и речи, да и ему не зватья больше «муженьком», но, к величайшему своему удивлению, он по-прежнему «милый, милый Альбер». У него на глаза навернулись слезы. Какое великодушие! Он приготовил в свою защиту множество путаных извинений, но Жермена говорила только о погоде, о необходимых покупках, о том, что нужно срезать цветы для букетов. Он слушал ее, замирая, как большой, верный п е с , — чересчур подобострастно. Но потом все-таки не выдержал:

— Жермена, кстати о вчерашнем, я хотел...

Тут выражение лица у нее на мгновение стало таким же, какое бывало у матери, и Жермена отчеканила:

— Я совершенно не понимаю, Альбер, о чем вы говорите.

Она пустила в ход самую коварную хитрость — не дала излиться его раскаянию, оставила его в этом смехотворном положении: словно больной, мучимый приступами рвоты, он хотел, но не мог извергнуть отраву. Хуже некуда! И она знала это, а он-то догадался только потом. Сначала его восхитила такая деликатность. Но Жермена и вправду была куда хитрее матери, а значит, и коварнее. И вскоре он понял, что отныне комичный воздыхатель в халате с узорами будет всегда стоять между ним и Жерменой. Она потихоньку усиливала свою домашнюю тиранию. То и дело он слышал:

— Милый Альбер, возьмите же себе за правило...

Или:

— Вам не следует больше...

— Да, Жермена.

Он уже не смел отвечать отказом, боясь вновь увидеть

то выражение лица, какое бывало у Фернанды. Было ясно: власть в этом царстве сменилась, но что делать? Главное — не менялась бы Жермена. «С возрастом она неизбежно станет похожей на мать, но я уже этого не увижу!» — размышлял он с горькой радостью. Так впервые ему пришла в голову мысль о собственной смерти, до сих пор ее оттесняла смерть Фернанды. Иногда он вспоминал недолгое и единственное счастливое в его жизни время — от похорон Фернанды до прихода Жермены, — и его охватывала тоска: он совершил три непростительные ошибки, погубившие его жизнь, и каждый раз все решалось в мгновение ока. Сначала он женился на Фернанде, потом смирился с появлением Жермены и, наконец, отправился к ней той ночью. «Надо было сразу сказать ей: «Мадемуазель, я вас не знаю, вы мне не родня, этот дом — мой...» Он проигрывал сцену заново, так, как ему хотелось, — обычное утешение слабых: «Этот дом — мой, и вам тут делать нечего, уходите!»

— О чем вы замечались, милый Альбер?

Голос Жермены, становясь в эти минуты голосом Фернанды, возвращал мечтателя к действительности. Можно было подумать, что она угадывает его мысли, во всяком случае, каждый раз, когда они сулят ей опасность. Теперь Альбер не смел ничего сделать, не спросив ее разрешения, кланчил ключ от погреба (связка ключей всегда была у нее), удивлялся, что говорит ей:

— Жермена, если вам не нужна машина, я хотел бы съездить в город после обеда...

— Ах, мне очень жаль, милый Альбер, но я сама должна поехать в город часа в три, причем одна. Но если вам что-нибудь нужно купить, я с удовольствием это сделаю.

— Нет-нет, тогда завтра.

— Боюсь, что завтра мне опять придется ехать туда...

«Опять придется ехать... Причем одна...» Он знал, что где-то неподалеку живет ее любовник. Жены прежних друзей (никто к нему больше не заходил) услужливо сообщили ему об этом и даже упрекнули:

— И вы такое терпите, Альбер?

— Ну и что же? Мне кажется, в ее возрасте это вполне естественно.

Он был вынужден одобрять ее поступки, защищать ее — и все из-за зеленой шелковой пижамы на верхней полке шкафа. Защищая Жермену, он поссорился с друзьями, перестал приглашать к себе соседей и безвылазно засел в доме, где больше не чувствовал себя хозяином. Альбер злился: «Вот вернется, я ей скажу...» Когда она возвращалась, он говорил:

— Ну что, Жермена, хорошо съездили?

— Да так, ничего особенного...

В самом деле ничего особенного: каждый день все тот же мечтательный взгляд, круги под глазами и томный голос:

— Милый Альбер, я не смогу провести вечер с вами: не знаю, что со мной, но я так устала...

По малодушию, вошедшему в привычку, он даже ее жалел:

— Бедная Жермена, ложитесь скорее спать, вы совсем себя не бережете...

Но иногда он прятался в глубине сада, в сарае с инструментами, и там разражался потоком ругательств и грубостей, обзывая «шлюхой» и мать, и дочь разом. «Ну все, дальше некуда», — повторял он себе в утешение, но в глубине души понимал, что это еще не предел. «Почему она не мучает меня, раз это в ее власти? Мать непременно бы мучила, а дочь — то чем лучше?»

Последняя его радость, единственная вольность, отличавшая царствование Фернанды от регентства Жермены, была весьма незначительной: по утрам он еще брился в гостиной. К этой смехотворной мелочи, единственному удовольствию за целый день, свелась вся его свобода.

Однажды утром, стоя перед зеркалом, он вдруг снова замер с бритвой в руке, как и несколько месяцев назад: на пороге появилась Жермена. В левой руке у нее был чемодан, а правой она держала за ручонку девочку, как две капли

воды походившую на нее самое и на Фернанду в детстве.

На этот раз сердце у него не екнуло. Он даже испытал облегчение сродни тому, что чувствует приговоренный к смерти, когда после мучительных бессонных ночей дверь в камеру наконец открывается и входят люди в черном. Не спеша он вытер лицо. «Теперь понятно, почему она все-таки была со мной любезна после того вечера...» Он медленно обернулся, а Жермена уже разливалась соловьем:

— Милый Альбер, вы, конечно, поняли... Вот малютка Эдме. Э д м е , — почти грубо подтолкнула она девочку, — беги поцелуй дедушку! Дитя несчастной л ю б в и . . . — добавила она приглушенным г о л о с о м . — Благодаря вам Эдме перестанет наконец страдать, согреется у домашнего очага... Скажи спасибо дедушке, дорогая, огромное спасибо!

Девочка приблизилась, и Альбер узнал в ее хитром и равнодушном личике ненавистные черты. Те же глаза, тот же взгляд исподлобья, складка у рта — Фернанда, Жермена, Эдме... «Только бы не заговорила!» Она промямлила чужую, затверженную фразу:

— Дедушка, не знаю, как и благодарить вас...

Он махнул рукой, чтобы девочка замолчала, главное, чтобы она молчала, — ведь и голос у нее такой же! Жермена следила за ним злобно, как после того случая в спальне: «Попробуй только не подчинись...» Он ясно прочел в ее глазах угрозу, потом мимолетную тревогу, и наконец — ибо Альбер по-прежнему молчал — они победно блеснули. Уже в четвертый раз в жизни из-за минутной слабости он будет обречен на страдания, он лишится покоя. Но сегодня у него даже нет выбора.

— Здравствуй, Э д м е , — произнес он бесцветным голосом и нашел в себе силы потрепать девочку с недетским взглядом по щеке.

Теперь смена обеспечена навсегда. Ай да Фернанда! Это загробное пособничество, эта династия тиранок даже приводили его в своего рода восхищение. В самом деле, куда ему до них?

На следующее утро Эдме играла в саду, а Жермена тем временем составляла букет в гостиной. «Придется быть начеку, особенно в первые дни», — думала она. Жермена спала плохо: не столько шаги Альбера над головой, сколько планы и расчеты, теснившиеся у нее в голове, мешали ей спать.

Однако все они оказались ненужными! Она вдруг увидела в зеркале этого толстяка, спускавшегося по лестнице с двумя чемоданами в руках. Он очень старался идти бесшумно, но она все же расслышала, как он тихо вздохнул, прежде чем отворить входную дверь. Не отрывая глаз от зеркала, Жермена машинально продолжала поправлять букет. Она не обернулась, не шелохнулась: только бы не оглянулся Альбер и не увидел в зеркале выражения ее лица.

## Фамилия

Как часто потом они вспоминали ту минуту (было это после обеда во вторник — нет, кажется, в среду... да нет, точно, во вторник), когда малыш, уткнувшийся в атлас для шестого класса, вдруг поднял голову и воскликнул: «Вот это да!»

— Ну что там опять?

На двоих старших родителям хватало терпения, а вот малыш только и слышал от них это «опять»...

— Бертжеваль, оказывается, существует.

— Еще б ы , — сказал о т е ц , — это же наша фамилия.

— Да нет, я нашел Бертжеваль на карте.

— Как это?

— Вот смотри.

— Надо говорить «смотрите», — машинально поправила мать.

Отец со вздохом поднялся и склонился над столом, глядя поверх светлой головки сына. Грязный, весь в черниль-

ных пятнах палец малыша остановился почти в самом центре шестиугольника, изображавшего на карте Францию.

— В самом деле!

Старшие дети и мать сбежались, словно куры к своей товарке, отыскивавшей червяка. — Где? — Да убери палец! — Я же показываю! — Опять ты забыл вымыть руки перед тем, как сесть за стол! — Я знаю эти места, там очень красиво...

Да, действительно: Бертжеваль. И пишется точно так же. «Это не может быть простым совпадением, — заметил отец. — Не Бержеваль — их пруд пруди, а именно Бер-т-жеваль».

— Уже десять часов, Ален, иди спать.

«Надо говорить: идите спать», — отметил про себя малыш.

В ближайшую субботу господин Бертжеваль решил повезти всю семью в Бурж: посмотреть собор, музей, дом Жака Кёра.

— Можно будет заехать и в Бертжеваль! — воскликнул малыш.

— М-м-м, — неопределенно отозвался отец, хотя именно ради этого он и задумал поездку.

Бурж осмотрели галопом: собор, музей, что там еще... «Дети, а не махнуть ли нам в Бертжеваль?» Спрашивать дорогу не было нужды: карту они уже знали как свои пять пальцев...

Бертжеваль оказался довольно невзрачным городком — муниципальный совет не без помощи самих жителей усиленно уродовал его на протяжении последней сотни лет, как это бывает почти во всех мелких городках Франции. Поблизости ни речки, ни леса; вообще ничего примечательного, кроме небольшой усадьбы на голом холме, которая возвышалась над черепичными крышами, как пастух над стадом овец.

Надпись на памятнике павшим наглядно иллюстрировала демографический спад: в первой мировой войне погибло двадцать семь человек, во второй — трое.

— Это была совсем другая война! — объяснил отец.

— Почему? На ней что, не убивали?

— Убивали, и гораздо больше. Но... Да прекрати наконец умничать!

Кафе под названием «Почтовое» могло бы с тем же успехом называться «Школьным», «Церковным» или «Муниципальным»: все это умещалось на единственной площади — так обычно дети рисуют город. Бертжевали зашли выпить по стаканчику («И grenadin для малыша, пожалуйста!») с намерением «разговорить» хозяина кафе. О-о! Бертжеваль теперь не тот, что прежде. Вы бы посмотрели лет десять назад: едва хватало двух залов («О свадьбах я уж и не говорю!»). А теперь удастся продать от силы тридцать бутылок красного за целый день...

— Красного? — переспросил малыш. — Он что, красками торгует?

— Да помолчите же! — одернула его мать: при посторонних, будь они даже столь низкого звания, она всегда обращалась к детям на «вы».

— А что это за усадьба там, на холме?

— Замок? — уточнил «торговец красками». — Он продается, и давно уже.

— Кто же его владелец?

— Некий Леви-Дюран. А до этого он принадлежал барону Додману. Все они нездешние... Еще раньше? Господи, я и не припомню! Вот мой отец, он сказал бы вам...

— А Бертжевалей никогда не было?

— Как?

— Я спрашиваю, не было ли владельцев с фамилией Бертжеваль: по названию замка и поселка?

— Может, когда и были.

Малыш открыл было рот. «Опять?» — сурово сдвинув брови, отец пресек очередной наивный вопрос.

— А как по-вашему, — снова заговорил он после непродолжительной паузы, — ремонт там потребуется значительный?

— Где это?

— В усадь... в замке.

Госпожа Бертжеваль бросила на мужа встревоженный взгляд. Хозяин кафе поднял глаза к потолку, как бы производя в уме сложные подсчеты, почесал затылок, покачал головой и наконец изрек:

— Да как вам сказать...

Из этого госпожа Бертжеваль заключила, что ремонт потребуется капитальный, а муж ее — что совсем небольшой.

Они еще не раз приезжали в Бертжеваль (департамент Шер): сначала с фотоаппаратом, затем со складным метром, потом с архитектором и, наконец, с нотариусом. Все это время почти каждый вечер после привычного «Марш спать!» и рассеянных поцелуев родителей мальчик слышал, как там, за тремя дверьми (он крался босиком на цыпочках и осторожно приоткрывал их), раздавался гул голосов, похожий на рокот океана, то бушующего, то затихающего. В течение целого месяца он засыпал под звук подсчетов и споров.

— Но мы же все равно хотели купить загородный дом...

— Да, Андре, домик, но не замок же!

— Ну уж и замок! Это хозяин кафе его так называет.

— Налоговый инспектор, к сожалению, тоже.

— А твой загородный домик разве не потребует расходов?

— Не таких! Ты залезешь в долги.

— Ну кто сейчас не в долгах? Время такое... В мои годы, с моим положением это не страшно.

— Да? А твой друг Ледре? А наш кузен Депуа? Они ведь тоже считали свое положение надежным. Десять — пятнадцать лет стажа, и вдруг под предлогом слияния, объединения предприятий, бог знает чего еще...

— Смею надеяться, я специалист более высокого класса, чем твой кузен Депуа! — Это было у них поводом для ссор.

— Да при чем тут это? Завтра ты можешь попасть под автобус...

— Ну спасибо!

— А мне не очень-то улыбается остаться с тремя детьми на руках и кучей долгов!

— Продашь замок.

— За гроши? Хорошо еще, если удастся хотя бы вернуть то, что мы за него заплатим.

— В конце концов, я еще не умер!

— А мы еще, слава богу, не купили этот замок.

— Но, Тереза, мы же все подсчитали, мы сможем его купить.

— Да, если продадим буквально все, не оставим себе ни сантима. А ведь его еще надо привести в порядок, обставить!

— К твоему сведению, существуют ссуды под залог!

И так часа два, из вечера в вечер: те же доводы, те же возражения, те же ответы. Обычно Тереза первой шла на перемирие, вернее, просто меняла тактику.

— Послушай, Андрей, — устало вздыхала она, — ведь эти места никогда нам не нравились. Деревня ужасна, дом — ну ладно, допустим, замок — так себе. Ну зачем же?..

— Во-первых, я так не считаю. На нем...

— «Печать благородства», знаю! Никогда раньше я не слышала от тебя этого выражения, но вот уже месяц...

— Да, на нем есть печать благородства, а постепенно мы превратим его в настоящую усадьбу. Это будет делом нашей жизни.

Глаза его блеснули.

— Но ты же сам говорил, что дело нашей жизни — это наши дети, — растерянно возразила жена. — В конце концов, для большинства людей дети — главное в жизни. А ты хоть поинтересовался их мнением?

— Для них это будет сказочным сюрпризом!

— Сюрприз должен быть приятным. — Она подумала о других неудачных сюрпризах, которые они с мужем преподносили друг другу. — Тебе не кажется, что дети предпочли бы какой-нибудь домишко на берегу реки и чтобы по-

близости были теннисные корты, где они могли бы завести друзей?

— А мы оборудуем бассейн. Маленький, — поспешно добавил он, увидев, что жена в отчаянии воздела руки к небу. — А потом и теннисный корт. Друзья будут приезжать к нам. Бертжеваль станет для них местом встреч.

— Вот! Вот причина! Если бы эта деревня не называлась твоей фамилией...

— Нашей, Тереза, нашей фамилией. Подумай, если бы в Париже была улица Бертжеваль, ты захотела бы там жить, правда?

— Если бы она была тихой и зеленой, наверно, захотела бы, — простодушно ответила она. — Но хотеть любой ценой откупить этот «замок Бертжеваль» — это тщеславие, Андре, только тщеславие.

— Дети поймут меня лучше, чем ты, — с горечью заметил он. — Не тщеславие, а гордость. Это... это честь нашей семьи, — добавил он, понизив голос.

По воскресеньям он неутомимо обходил все комнаты в своем новом жилище. Он уже до мельчайших подробностей знал вид (надо признаться, довольно унылый), который открывается из каждой комнаты, из каждого окна. То севшая ступенька, то треснувшая дощечка паркета, то пятно на стене напоминали ему о предстоящих расходах и долгих годах работы — но ведь это был Бертжеваль. У решетчатых ворот (вот что еще необходимо починить до зимы!) возвышались три явора. В восторге от незнакомого слова, малыш — «Ну что у тебя опять?» — предложил назвать усадьбу «Три явора».

— Почему бы тогда не «Мечта»? — возразил отец. — Он не нуждается в названии, — господин Бертжеваль называл свое приобретение не иначе как «он». — Он носит имя этого места, вернее, это место носит его имя, а это, кстати, и твоё имя.

— Да, — пробормотала жена, — почему бы не «Мечта»?

Она спустилась на первый этаж и позвала: «Андре!» Гулкое эхо напоминало о внушительных размерах дома, но и выдавало его пустоту. «В чем дело? Что еще Тереза там нашла?» — встревожился хозяин. Но она всего лишь попросила: «Иди помоги мне, а то мы никогда не закончим». Впрочем, она и так была уверена, что они вообще никогда не закончат. Старшие дети разлеглись на пожухлой осенней траве: отдыхали. Отец пытался внушить им, что это их дом и они должны в нем трудиться, но услышал в ответ:

— И так лишили нас развлечений! И еще изволь вкалывать каждое воскресенье!

Никакого понятия о чести семьи! Однако отец слишком боялся, что старшие примут «сказочный сюрприз» в штыки, чтобы пререкаться с ними. Он лишь вздохнул и срывал раздражение на жене и малыше. Пришлось урезать семейный бюджет, и всякий раз, когда старшим в чем-нибудь отказывали, они тоже в свою очередь вздыхали. «Да здравствует Бертжеваль!» — выкрикнул однажды сын, хлопнув дверью. И только малыш втайне от всех копил деньги, каждый вечер взвешивал в руке копилку, чтобы было на что обставить его комнату в «замке».

У каждого была там своя комната, но вся обстановка состояла из матрацев, положенных прямо на пол, расштантных стульев и рекламных плакатов на стенах. А между тем парижская квартира постепенно пустела: большая часть мебели перекочевала в Шер, однако это дало возможность обставить лишь холл и гостиную, самые бесполезные из комнат: гостей в замке не бывало, ведь Бертжевали не знали никого в «краю своих предков».

Именно это выражение владелец замка употреблял всякий раз, когда кто-нибудь из друзей случайно заезжал в Бурж. Он говорил еще о «возвращении к истокам» и мало-помалу уверовал в легенду, которую сам сочинил, порывшись в архивах департамента. Не найдя там никаких следов Бертжевалей, он приписал себе родство с самыми знаменитыми фамилиями округи. Так, «во имя чести семьи»

к его родне были причислены некий сенешаль, интендант провинции и даже архиепископ. «У нас были, знаете ли, кое-какие нелады с королевским двором, — говорил он с важным видом. — Как-нибудь, когда у вас будет время, я дам вам почитать полемику Боссюэ \* с монсеньором де Бертжевалем. Тогда были, скажу я вам, жестокие времена!..»

И все же отсутствие родни в анналах департамента так огорчало хозяина замка, что однажды он, не называя своего имени, нанес визит архивариусу.

— А-а! Очень распространенное искажение! — заявил тот с отвратительной самоуверенностью знатока. — Вероятно, какой-нибудь служащий или писаришка из префектуры просто ошибся. А скорее всего, у него был такой неразборчивый почерк, что позднее прочли «т» там, где его и в помине не было.

У господина Бертжеваля пересохло в горле.

— Но как же! — робко возразил он. — Ведь уже много веков это имя... Я хочу сказать, что эта коммуна...

— Да что вы! Это поселение создано совсем недавно! В девятнадцатом веке наши власти принялись строить такие деревни где попало. Я подозреваю, — тут он наклонился к собеседнику, словно желая доверить ему важную тайну, — это делалось для того, чтобы оправдать постройку новых церквей по конкордату. И чего только не говорят о нашем славном государстве! — Он рассмеялся, но гость не поддержал его. — Уверяю вас, во всей округе вы не сыщете постройки, возведенной до 1830 года.

— Но замок...

— Какой замок? Ах, усадьба! Послушайте, я там не был, но у меня сложилось впечатление, что это одно из тех претенциозных строений, которые благодаря дурному романтическому вкусу, а еще больше — тугому кошельку, — он опять рассмеялся, — выросли, как грибы, по всей Франции, особенно в краях, где хватало камня и черепицы. Интересно было

\* Боссюэ Жак Бенинь (1627—1704) — знаменитый французский проповедник и религиозный писатель.

бы составить карту доходов буржуазии в прошлом веке. В школах висело бы новое учебное пособие рядом с картами рек и каналов, автомобильных и железных дорог... Во всяком случае, «замка» Бертжеваль нет в переписи 1867 года, а это о чем-то говорит...

«Вот болван! — подумал господин Бертжеваль. — Даже не видел замка, а разглагольствует, да еще с каким апломбом!» Однако больше всего он боялся, как бы этот знаток не вздумал явиться в замок.

Итак, Бертжеваль возник недавно и никакого интереса не представляет; коммуна, как сотни других, не имеющая исторического прошлого... Ну нет, как бы не так! И вот владелец замка спустился со своего холма в городок. Для начала он сказал жене, что отныне будет сам ходить за покупками, и нанес визиты всем окрестным лавочникам. Чтобы не пропустить ни одного, он покупал груши в одной лавке, яблоки в другой, и даже два эскалопа у одного мясника, а еще два — у другого.

— Как ты долго ходишь по магазинам! — ворчала Тереза.

— Надо же наконец завести знакомства...

Этому способствовала его фамилия.

— Скажите на милость! Альбер, ты слышал, как зовут господина! Какое совпадение!

— О нет, сударыня, это не совпадение, а возвращение.

И он рассказывал свою историю, вернее, легенду, с каждым разом веря в нее все больше и больше. Его рассказы льстили слушателям: они приобщали их скромный городок к той красивой жизни, которую показывали по телевизору в многосерийных фильмах на исторические темы. В их монотонные будни как будто ворвались «Три мушкетера», черно-белое существование окрасилось в яркие цвета. Иногда господин Бертжеваль решался даже упомянуть сенешаля, а для самых доверчивых — и архиепископа.

— Замок? — прошамкала одна старуха, мать галантерейщицы. — Его же при моем отце строили.

— Замолчи, мама, этого не может быть! Не обращайтесь внимания, сударь, в таком возрасте вечно все путают.

В лавках господин Бертжеваль встречал домохозяек. Вечерами, в промежутке между чтением «Франс суар» и телевизором они успевали сообщить мужьям местные новости. Вскоре все в городке всё знали. На воскресной мессе прихожане показывали друг другу Бертжевалей. Отец упросил старших детей ходить в церковь «ради чести семьи». Когда он произносил эти слова, воображение рисовало ему многовековую историю, персональные места в капелле Святого Причастия, капеллана, являвшегося к завтраку по воскресеньям, и монсеньора де Бертжеваля (1617—1693).

Приближались выборы в муниципальный совет, и господин Бертжеваль объявил домашним:

— Друзья настаивают, чтобы я выдвинул свою кандидатуру.

— Друзья?

— Да, у меня теперь много друзей в городке.

— Ты будешь муниципальным советником? Зачем тебе это? — спросил старший сын без всякого уважения.

— Это необходимая ступень для того, чтобы войти со временем в Генеральный совет.

— Ну и что?

Он даже не знал, что такое Генеральный совет, и отец пустился в объяснения, пожалуй, даже чересчур поспешно: «...А местные власти приобретают все большую самостоятельность, так что представляешь ...»

— Придется принимать гостей, — вздохнула Тереза.

И вот были избраны кандидаты округа по списку, в который входил Бертжеваль Андре, «коммерческий служащий», а через месяц муниципальный совет назначил Андре Бертжеваля мэром.

Малыш увидел своего отца другими глазами. Воскресные дни в Бертжевале проходили теперь по-новому. Глава семьи почти не бывал дома, лишь изредка приходил из мэрии

в сопровождении бородачей с деревенским выговором. Супруга мэра при этом только и делала, что подавала напитки и мыла стаканы. Старшие дети, уверенные в безнаказанности, совсем перестали приезжать.

Господин Бертжеваль еще не вошел в Генеральный совет, но уже проявил себя очень деятельным мэром. Жители городка были восхищены и даже слегка обеспокоены тем рвением, с каким он заботился об их благе. Выдвинутый ими кандидат, похоже, решил дать возможность «выдвинуться» всему городку! Не проходило недели, чтобы мэр не встречался с кем-нибудь из ответственных лиц в префектуре.

Надо сказать, что коммуна во Франции предоставлены весьма обширные права, однако финансы государства и департаментов сильно выигрывают от того, что большинство мэров об этом просто не знают. Но не таков был мэр Бертжеваля. Каждый день он внимательно прочитывал «Ведомости» — от даты выпуска до подписи наборщика. Это вызывало новые упреки жены: «Ты больше ничем не интересуешься». И действительно, он теперь не интересовался ничем, кроме Бертжеваля, но неужели Тереза не понимала, что все это делалось для поддержания «чести семьи»?

Со временем Бертжеваль стал разбираться в делах округа лучше, чем сами служащие префектуры. Вооружившись необходимыми бумагами, он являлся в кабинеты и требовал дотаций и субсидий в таких размерах, что, провожая его до дверей, очередной чиновник шептал ему на ухо:

— Договорились, все будет сделано, только прошу вас, господин мэр, сохраняйте наш разговор в тайне. Мне бы не хотелось, чтобы это дошло до ваших коллег из других коммун...

Предосторожность была излишней: ведь процветание Бертжеваля зависело еще и от упадка соседних городков. Совсем как по Евангелию, только наоборот: «И суждено мне расти, а им умяляться».

В префектуре рвение господина Бертжеваля называли другим словом. «Как нам избавиться от этого зануды?! —

воскликнул однажды префект, выйдя из с е б я . — То есть я хочу сказать...» Впрочем, он сказал именно то, что хотел.

А жителей городка рвение мэра приводило в восторг. «Как он радуется о нас!» — сказала хозяйка овощной лавки (та, у которой Бертжеваль покупал яблоки), и эта крылатая фраза облетела все лавки. Жители городка и не подозревали, что, отдавая им все свои силы и время, мэр заботился лишь о прославлении своей фамилии. А ведь такой нередко встречающийся деятельный эгоизм — опаснейшая западня. Одна Тереза все понимала, но никогда не заговаривала на эту тему. Правда, однажды она заметила:

— Ты больше не рассказываешь, как у тебя дела в конторе.

Он отмахнулся, словно говоря: «Это теперь отошло на второй план!» Жена вздохнула с горечью: что-то, а она и дети всегда будут у мужа на втором плане. Мэрия заменила ему «дело», вот и все. Она подумала о том времени, когда дети вырастут и станут самостоятельными: на какой план она тогда будет отодвинута?

Между тем, если бы муж рассказывал ей о своих служебных делах, он был бы вынужден признаться, что на днях патрон сказал ему полушутливым, полусерьезным тоном, наиболее опасным для подчиненных:

— У меня сложилось впечатление, Бертжеваль, — простите, что говорю вам э т о , — что в последнее время вы... как бы это выразить?... часто отвлекаетесь от дела. Да, вот именно — отвлекаетесь...

Легко спутать глаголы «отвлекаться» и «развлекаться». Действительно, господин Бертжеваль часто отвлекался от своей работы, однако ему было не до развлечений: он переутомился, стал раздражительным, плохо спал, голова его была полна каких-то цифр.

Он задался теперь целью добиться, чтобы название его городка сопровождалось малопонятным сокращением с буквой «З» на конце, что означало возможность строительства на его территории заводов. А между тем этот маленький

городок не располагал ни источниками энергии, ни квалифицированной рабочей силой, ни подъездными путями. Поблизости не было ни реки, ни канала, железная дорога и автострада проходили далеко в стороне, а средний возраст жителей приближался скорее к пенсионному. Но разве есть в наше время другой способ «продвинуться» городку, похожему на деревню? И господин Бертжеваль уже воображал городок, носивший его имя, маленьким Греноблем. Начнется цепная реакция: построен один завод — и вот уже требуется другой; это вызовет приток рабочей силы, расцвет торговли, снижение среднего возраста населения. Вскоре придется построить молодежный клуб, дом культуры, общежития для рабочих, технический колледж. Мэр говорил «построить», но про себя думал «открыть». Ему уже давно надоело повязывать трехцветный шарф только для того, чтобы сочетать браком местных крестьян. Он предвкушал, как в начале своих речей на торжественных открытиях будет намекать на совпадение названия городка (виноват! города) с именем мэра. «Многовековая история подготовила счастливый союз этого края с тем, кто скромно, но не без гордости взял на себя труд...» Так господин Бертжеваль мечтал отомстить болвану архивариусу. Благодаря его стараниям эта коммуна, основанная «где попало», эта «ошибка писаришки» обретет достойную историю со своими сенешальями, интендантами и архиепископами. Она будет с гордостью носить свое имя, надо только дождаться дня, когда префект и все власть имущие...

И вот настал день, когда префект получил досье по вопросу о создании промышленной зоны Бертжеваля. Он немедленно собрал у себя в кабинете всех, кого это непосредственно касалось. Их было восемь, и они составляли как бы небольшой совет министров. У Землеустроительных работ была окладистая борода, у Путей сообщения — круглые очки, у Финансов — полосатый галстук, а у Народного образования — лиловая орденская лента.

— Господа, — начал префект, — мне уже не раз приходилось беспокоить всех вас из-за городка под названием...

— Бертжеваль, — со вздохом подсказали Финансы.

— И вы, конечно, догадываетесь, что речь идет о новом прошении. Но на сей раз оно не лезет ни в какие ворота! Речь идет ни больше ни меньше как о предоставлении этому округу статуса промышленной зоны — со всеми вытекающими отсюда заботами и хлопотами для каждого из нас!

— Это же лишено всякого смысла! — воскликнули Землеустроительные работы.

— Вы еще очень мягко выразились, — поддержал один из коллег. — Это чистое безумие.

— И для жителей, и для нас.

— Не говоря уже о расходах!

Префект дал всем высказаться. Потом заключил:

— К сожалению, господа, за этим прошением последует новое, потом еще и еще. Этому не будет конца: ведь чем больше он требует, тем больше ценят его избиратели. Бертжеваля переизберут, можете не сомневаться. Он станет в конце концов старейшиной мэров Франции!.. Если подсчитать, сколько мы уже потратили из-за него времени, сколько извели бумаги...

— И денег! — вмешались Финансы, по ходу дела производя подсчет.

— Что стало бы с нашим департаментом, если бы все мэры были такими, как...

— Увы, никакие силы не могут помешать ему читать «Ведомости» с пользой для себя! У нас нет выхода!

— Выход е с т ь , — сказал префект.

— Ступай скажи отцу, что мы садимся за стол!

Малыш помчался по коридору с криком «Дрр! Дррр!». Час назад приезжал посыльный на мотоцикле. Он привез отцу СРОЧНОЕ секретное послание из префектуры, заехал в мэрию, потом в замок, и мальчик теперь не ходил, а ездил на мотоцикле: бежал, сжимая в вытянутых руках вообра-

жаемый руль и издавая звуки, похожие на рычание.

— Дрр! Дрр! Дррр! Папа заперся!

— Что?

Сердце Терезы забилося; сколько лет оно не колотилось так бешено?

— Он сказал через дверь: «Оставь меня в покое».

— А! Хорошо.

«Почему же «хорошо»? — подумал малыш. — Странные они все-таки...»

А Тереза бегом поднялась наверх и стучала, пока муж не открыл дверь.

— Что случилось?

— Читай.

— Это из префектуры?

Он кивнул. Прежде чем прочесть письмо, она внимательно поглядела на мужа: за час он постарел на десять лет. Такое же бледное, осунувшееся лицо с обозначившимися морщинами, как в тот вечер, когда старший сын сильно разбился, упав с велосипеда. Тереза прочла послание префекта, перечитала еще раз. Она знала, что любой вопрос разозлит мужа, но все-таки спросила:

— Что же все это значит?

— Как что? Неужели не ясно? Они решили уничтожить Бертжеваль, просто-напросто зачеркнуть! Прочти сама! Мы станем частью Буржа в связи с... как они там пишут?.. с укрупнением административно-территориальных единиц.

— И ты не будешь мэром?

— Мэра вообще не будет. Ни мэра, ни муниципальных советников. Разве что в Бурже.

— Тебя же могут избрать в муниципальный совет Буржа.

— Зачем мне это?

Она поняла и, помолчав, спросила другим тоном:

— Но городок все равно будет называться...

— Нет! — отрезал он, словно одно упоминание этого названия причиняло ему боль. — В том-то и дело, что не будет. Перечитай третий параграф.

— Западная окраина... Бурж-Вест.

— Видишь, мы будем даже не районом — предместьем Буржа.

«Продать замок... Найти наконец домик на берегу реки, который понравится детям... Если экономить, можно будет купить стиральную машину, снова нанять прислугу...» Мысли устремились, обгоняя друг друга, как поток, прорвавший плотину. Но, подняв глаза, Тереза опять увидела удрученное лицо мужа.

— Бедный мой Андре... Милый...

Это забытое слово из давнего прошлого вернуло его к действительности.

— Вообще-то, — вздохнул он почти машинально, как ребенок, который хнычет, хотя ему уже не больно, — вообще-то Бурж-Вест... Совсем неплохо звучит: Бурж-Вест...

Малыш, который остановил свой мотоцикл под дверью и внимательно слушал весь разговор, выпрямился сияя.

— Буржвест, — повторил он (это слово привело его в восторг). — Буржвест — вот здорово, куда шикарней, чем Бертжеваль!

## Блудный отец

Господин Мейяр толкнул дверь в столовую. Он в точности знал, что его ожидает за этой дверью: накрытый к завтраку стол, привычное расположение всех предметов и среди них, едва ли более одушевленный предмет, чем другие, его жена. Итак, он толкнул дверь и услышал собственные слова:

— Я ухожу.

Ночью он не сомкнул глаз. Такого с ним не случилось со времен войны. Даже в ту ночь, когда умер их первенец, он забылся сном. Но на этот раз, чтобы не заснуть, он встал

с постели и всю ночь ходил взад-вперед по комнате, своей тюремной камере. Два дня назад была свадьба их младшего сына. В доме еще пахло едой, цветами, чужими людьми. Один сын умер, а трое остальных уже обзавелись семьями — его миссия выполнена. Теперь он имеет право уйти. Во всяком случае, он пытался убедить себя в этом в течение этих ночных часов, которые так долго тянулись, неустанно проигрывая за обоих сцену ухода. Жена: «Но почему?.. Куда?.. Надолго ли?..» А он, не находя ответа, только твердил, словно заупрямившийся ребенок: «Потому что...» В настоящей причине он не мог признаться даже самому себе: это был страх. Страх постареть, увязнуть в зыбучих песках повседневности. Пустые машины мчатся быстрее; время теперь становилось для него такой же абсолютно пустой машиной, которая катилась прямо в «разверстную могилу», как выражаются в трагедиях. Страх задать себе наконец — слишком поздно — главные вопросы, страх убедиться в том, что он «не жил», — ну а кто живет по-настоящему? Страх умереть преждевременно.

Господин Мейяр ходил из угла в угол всю ночь напролет, он считал своим долгом провести всю эту ночь на ногах. Это доказывало его отчаяние, а значит, и оправдывало его, не так ли? Он не желал всерьез задать себе те вопросы, которые задаст ему жена, ибо знал, что на них нет ответа. «Вернее, есть только один ответ, — рассуждал он, — почему люди едят, пьют, спят? Потому что хотят есть, пить, спать. Почему мы дышим? Чтобы жить — и потому, что не можем не дышать». Так вот, он тоже не мог не уйти, чтобы жить.

Он толкнул дверь, и решение его стало окончательным. Все это было только внутренним спором, выдумкой, мечтой бессонных ночей — до того мига, как дверь не приоткрылась и он не увидел точь-в-точь то, что ожидал увидеть. Может быть, если бы хоть что-то в это утро в комнате было не таким, как всегда, ну хотя бы чуть-чуть иным, господин Мейяр так ничего и не сказал бы. Все свелось бы к обычному: «Ты хорошо спал? — Да, а ты?» — а ответов они не слушают.

Быть может, если бы госпожа Мейяр не надела свой сиреневый халат... Но она его надела, как надевала каждое утро и как будет надевать всегда, и все вещи были на своих привычных местах.

Он помедлил еще мгновение, как всякий раз, когда заранее знаешь (хотя это случается редко), что одним словом можно все разрушить. Помедлил перед тем, как спустить курок... Решение было принято. Однако его должно было скрепить изумление, гнев, смирение или даже — как знать? — обморок госпожи Мейяр. Или нет! Скорее, это будет залп обычных вопросов: «Уезжаешь? Куда? Надолго?» И тем более когда она поймет, наконец, истинный смысл слова «Ухожу» (это она прочтет во взгляде мужа): «Но почему? Почему?»

— Я у х о ж у , — сказал он.

Это только в романах и фильмах от неожиданности роняют из рук стакан. Госпожа Мейяр поставила чашку на блюдце, и ее рука (на ней он остановил свой взгляд, стараясь не смотреть жене в лицо), как ему показалось, даже не задрожала. Тогда он поднял глаза и не узнал ее — она как-то разом и помолодела, и постарела. В ее взгляде, уже так давно безо всякого интереса скользящем по людям и вещам, вдруг пробудилась живая жизнь, и это внезапное озарение, куда более заметное, чем отчаяние и боль, которые в нем тоже можно было прочесть, вернули господину Мейяру образ той девушки, что он полюбил сорок лет назад. И вместе с тем на него мужественно глядела старая женщина, спутница его последних лет: вот такой она, наверно, будет на смертном одре, перед тем как время выберет среди всех возможных масок самую неожиданную, чтобы прикрыть ее угасшее лицо.

Мейяр не позволил себе растрогаться. Зачем же тогда он провел эту ночь без сна? «Мое решение не удивляет е е , — сказал он с е б е . — Значит, она этого ждала. Значит, это решение оправданно, неизбежно, и не нужны никакие объяснения...»

Он ушел налегке, без чемодана. Теперь каждое утро госпожа Мейяр будет открывать шкаф и комод, где хранятся его белье и костюмы, словно проверяя ценный залог... Никаких чемоданов! Он ушел в светло-сером костюме, единственном купленном без нее, о котором она говорила с оттенком горечи: «Твой холостяцкий костюм!» В нагрудном кармане, у самого сердца — чековая книжка. И ничего больше. Нет, документы он все-таки взял с собой, хотя и неохотно.

С грустью, словно после похорон, обходя дом и окидывая его новым взглядом, как будто только что получила его в наследство, госпожа Мейяр увидела, что муж оставил машину. Этот черный «пежо» он бросил по двум причинам: такая машина у каждого, да и цвет самый «солидный». Он вызвал по телефону такси. Такой отъезд был символичен: полная анонимность, никакой ответственности, и к твоим услугам люди, которым платишь и которые не задают никаких вопросов. «Сегодня опять будет жаркий день», — заметил шофер не оборачиваясь. Именно это, без всякого сомнения, сказала бы ему за завтраком жена. Но она бы непременно прибавила: «Ты бы надел полотняные брюки» — или: «Не выходи без шляпы». А шофер понятия не имел, что у Мейяра есть, вернее, были (теперь обо всем следует говорить только в прошедшем времени) полотняные брюки, и плевать ему, если его случайного пассажира хватит солнечный удар. Превосходно! Как раз такие отношения господин Мейяр и желал бы отныне поддерживать со всеми. Вторжения на свою территорию он не допустит, и вся инициатива будет исходить теперь только от него. Вот его определение свободы.

Мейяр купил открытую машину иностранной марки: ему давно не давала покоя ее кричащая газетная реклама. Он еще отыграется! Обзавелся он и легкими светлыми чемоданами. Из тех, что носильщики везут на тележках по ночным перронам к экспрессам дальнего следования или сами пассажиры с рассеянным видом катят в холлах аэропорта. По крайней мере, так об этом рассказывают фильмы, и впервые

в жизни Мейяр проверит это на себе. В новом костюме, тоже очень легком (легкость во всем — не это ли отличительная черта богачей?), который он, хотя и не без колебаний, заказал себе сам, не раз спрашивая у портного, подходят ли эта материя и покрой для его возраста, — в этом костюме, который госпожа Мейяр наверняка бы ему отсоветовала, с почти пустым бежевым дипломатом в руке, давая чересчур щедрые чаевые носильщику, он теперь ничем не отличался от людей, которым он сам так завидовал и которым завидуют в с е , — людям, загорелым в любое время года и свободным от уз супружества. Да, ничто не отличало его от них, но ему не верилось в реальность его теперешнего существования.

Его могли увидеть, если бы кто-нибудь дал себе труд обратиться на него внимание, в Венеции, в Майами, в Эксе: там, где «следует быть», и тогда, когда полагается. Он добросовестно испытывал от этого удовольствие, по крайней мере первое время. Удовольствие было дорогим, но денег он не считал, не выписывал никаких чеков. Он договорился, что банк будет переводить его супруге «деньги на хозяйство» (как удивилась бы госпожа Мейяр, узнай она, что это ее всегдашнее выражение тоже сыграло свою роль в его необъяснимом уходе). Он же, как в угаре, запасся всевозможными кредитными карточками и предъявлял ту или другую, даже не глядя на собеседника — так, как предъявляют сезонный билет контролеру пригородного поезда. Деньги, о которых ему чуть ли не ежедневно твердили всю его жизнь, больше не существовали для него. Он надеялся так же легко избавиться от отравляющей жизнь зависти; ему казалось: достаточно достичь того, чего желаешь, или того, чем обладает другой, чтобы освободиться от этого наваждения. И не мог понять, почему оно все еще преследует его.

Чувство своей ущербности господин Мейяр впервые испытал во время посещения одного из причудливых замков короля Баварии. Человек в светло-сером костюме, который покинул свой старый дом около полугода назад, был не Алек-

сисом Мейяром. Во всяком случае, не совсем. Не полностью. Иначе как объяснить, что у него не появилось ни одного друга? Или что он даже не в состоянии вести настоящий разговор. Или заинтересоваться тайной, окружающей смерть Людвига II. Ему не хватало человека, с которым можно было бы об этом поговорить. И когда какая-то иностранка, не понявшая объяснений гида, задала Мейяру несколько вопросов, впрочем, довольно глупых, он ощутил от этого давно забытое чувство радости. В Милане, выйдя из «Ла Скала», до слез взволнованный спектаклем (глаза у него были на мокром месте), он чуть не задохнулся от охватившего его восторга, но и от одиночества. Он отважился заговорить с пожилым итальянцем:

— Не правда ли, прекрасно? Пожалуй, даже слишком...

Тот посмотрел на него с нескрываемым удивлением: иностранец с подозрительно блестящими глазами обращается к нему неизвестно зачем... Вот если бы он спросил, ну хотя бы, где находится туалет, то еще куда ни шло...

Мейяр разглядывал зрителей (это было праздничное представление), и ему вдруг почудилось, как бывает иногда в кошмарах, что он голый посреди толпы. Все они ему чужие, даже те, кто говорит по-французски. С ними нельзя ни разговаривать, ни молчать. Он не осмелился бы заговорить с ними ни о ревматических болях в запястье правой руки, ни о том, как его в четыре года впервые укусила оса. Да и было ли у них детство? И сознают ли они, что когда-нибудь умрут? Они только внешне на него похожи: две руки, две ноги, одна голова. Но их глаза видят не так, как его глаза, и их уши не услышат того, что он мог бы им сказать. А что, собственно говоря, мог бы он им сказать? Сказать ему было нечего, а потребность говорить так велика... «И разделяет нас вовсе не богатство, — с вызовом подумал о н . — Денег-то у меня не меньше, чем у них».

Но это было уже не так. Служащий банка, где он собирался вновь заpastись наличными (дело было в Канне), сказал ему с неприятной развязностью:

— А, господин Мейяр, кстати, директор хотел бы с вами поговорить...

Еще не войдя в кабинет директора, господин Мейяр уже знал, что ему предстоит услышать. «...Мне кажется, нам следовало бы ограничить расходы. Иначе у нас могут не сойтись концы с концами...»

— Однако регулярные поступления, на которые я рассчитываю...

— Боюсь, вы намерены жить за счет будущих доходов...

«За счет будущих доходов... Он далеко пойдет, — с горечью подумал Мейяр, — очень далеко пойдет в этом обществе, где все стало вопросом формулировок». А тот продолжал, опять переходя на «мы»:

— Нам надо подождать, пока бочка снова наполнится...

Мейяр испытал некоторое облегчение от этого насильственного возвращения в мир, где надо считать деньги. Началась новая страница его жизни. Ему даже нравилось, отказывая себе в чем-то, думать, что «бочка наполняется».

Вот почему наш герой очутился в семейном пансионе, убранство которого сильно смахивало на его собственный дом, — и это было ему приятно. Однако новое ощущение счастья (длилось оно, правда, недолго) возникло как раз оттого, что это не его дом. Мейяр находился в этой обстановке, такой привычной, почти семейной, но он мог бы удрать отсюда в любую минуту. Свобода почти всегда выражается в условном наклонении. С удовольствием, какое испытывает усталый человек, надевая домашние туфли, он ежедневно, в полдень и в семь вечера, переступал порог жалкого пансиона «Ирис». Он никогда не опаздывал к столу, а ведь еще несколько месяцев назад он получал удовольствие оттого, что обедал не вовремя, в два часа дня, или даже пропускал иногда ужин... Обитатели пансиона здоровались с ним, церемонно наклонив голову. Они много улыбались друг другу, но почти не разговаривали. Все это напоминало ему то ли монастырь, то ли английский роман; и чем отчуж-

денней он себя там чувствовал, тем был довольнее.

До тех пор, пока однажды господин Мейяр не догадался, что зрителем здесь был он один; все эти люди сами выбрали для себя эту одинокую жизнь, устроили ее по своему вкусу; они жили, как в крепости, пусть со спущенным мостом, но все-таки в крепости. В то время как господин Мейяр...

Он заметил это, когда старался очаровать двух соседок, облик которых привлек его кротостью и достоинством — они были моложе его и еще хороши собой. Их сдержанность сначала восхитила, а потом обескуражила. Он не пытался их обольстить: он слишком давно перестал этим заниматься, и теперь все связанное с плотью казалось ему просто смехотворным и даже сомнительным — ведь в этой сфере затянувшиеся паузы губительны. Господин Мейяр искал у этих дам теплоты и участия, которые могут возникнуть в отношениях между мужчиной и женщиной лишь в определенном возрасте, подобно тому как ношеное белье становится более мягким. Он был огорчен, видя, что ни та, ни другая не испытывают подобной потребности, и всякий раз, когда он старался приблизиться к ним, проникнуть в их крепость, они поднимают мост. Между двумя границами всегда пролегает *no man's land* \*. По этой-то ничейной полосе и вышагивал господин Мейяр; неужели у него не было больше никаких корней?

Как только господин Мейяр это ощутил, он решил, что другие давно уже это заметили и все время удивленно и осуждающе наблюдали за ним. Итак, он начал страдать, но эти страдания были ему даже чем-то приятны. Он ведь жаждал подлинных чувств. К тому же, разве не это было основной причиной его ухода? И, как говорят старые женщины, жить — значит страдать. Много ли вы знаете романов с хорошим концом? Ну, а в жизни разве бывает иначе?

Но все тяжелые для себя открытия Мейяр делал всегда лишь в самые неподходящие моменты. Однажды вечером, во время ужина, он обвел столовую взглядом, и то, что он

\* нейтральная зона (англ.).

увидел, показалось ему трагичным и нелепым. Не столовая, а океан, усеянный островками, или, если угодно, равнина с неприступными крепостями... Все обитатели пансиона, все, кроме него, окопались каждый в своем лагере: эти робинзоны знали, почему они потерпели крушение, и готовы были бросить в море любого назойливого Пятницу. А он-то, глупец, тщетно пытался причалить к их островам и напрасно ждал днем и ночью, что кто-нибудь посетит его остров.

Нарушая все правила, он поднялся сразу после супа (когда пансионеры уже оторвали глаза от глубоких тарелок, но еще не начали поглядывать на дверь в ожидании следующего блюда), поднялся и вышел, не проронив ни слова, даже не улыбнувшись для приличия. Волна прокатилась по побережью всех островов: «Мсье Мейяр плохо себя чувствует... Да, да, уже несколько дней...» Но тут внесли сладкое мясо по-кламарски — и все подняли свои мосты.

Мейяр вышел на улицу и стал судорожно глотать воздух. Ему было не до еды, угроза нависла над самой его жизнью, надо было дышать, дышать, чтобы удержать ее. Он углубился в темноту улиц. Ночь, предвестница смерти, была его единственной союзницей. Он чувствовал себя никому не нужным, исключенным из людской суеты. Потерял уверенность в том, что остался таким, каким был в четыре года, когда его впервые укусила оса. Ощутил себя вне времени, но не так, как тогда в Милане, после спектакля в «Ла Скала», когда его охватило восхищение прекрасным, — нет, вне времени, как выброшенная на берег рыба.

— Пойдем, милый?

Проститутка стояла в тени и заученным тоном предлагала ему спасение, сама того не подозревая. Он молча взял ее под руку, и она молча повела его в гостиницу. Там все было узким: дверь, лицо швейцара, лестница, продавленная посередине кровать. Она закрыла дверь на ключ, разделась, повернулась к нему, и Мейяр увидел ее тело пятнадцатилетней девочки, груди сорокалетней женщины и лицо без возраста. Не трогаясь с места, он вдруг заплакал.

— Ты что это? — Она легла на кровать. — Чего же ты не идешь?

— У вас нет... У вас нет ночной рубашки?

— Н е т , — с горечью ответила о н а , — я их не ношу...

Он ничего не отвечал и все плакал. Она притянула его к себе, стараясь при этом избегать грубых жестов. Уже очень давно она не чувствовала себя такой счастливой. Он тоже. Он рассказал ей о последних годах, месяцах, днях своей жизни. Свою собственную версию, конечно, иную, чем мой рассказ, который, разумеется, тоже представляет собой лишь частицу правды.

Когда он умолк, воцарилось долгое молчание.

— Я тоже, тоже часто вела себя как дурочка, — сказала наконец ж е н щ и н а . — Н е т , — продолжала она, покачав головой, — не как дурочка, как ребенок. Ты знаешь, нельзя менять среду. Общество этих богачей, живущих в гостиницах и летающих на самолетах, не для тебя. И я тоже не для тебя... Надо оставаться в своем углу, и тебе, и мне. Другого нам не дано, поверь мне, не дано.

Она внезапно отвернулась. Медленно, но твердо повернул он ее лицо к себе и увидел, как по щекам скатились две слезинки, черные от растекшейся туши.

— Вы тоже плачете? — прошептал он с радостью, которую уже ничто не могло омрачить.

— Знаешь, со мной этого так давно не случалось! — Ее лицо, такое крошечное, сморщилось в гримасе. — Даже в носу пощипывает и горло болит.

Он посмотрел на нее с нежностью; она неправильно истолковала его взгляд.

— Ты правда не хочешь?

Он покачал головой. На самом деле он испытывал к ней влечение с той минуты, как она заплакала, но это казалось ему отвратительным.

— Ну и что же мы будем делать?

— Вы уснете одна. Это доставит вам удовольствие, верно?

— А ты?

— Я? Я... пойду.

— К себе?.. Почему ты так на меня смотришь? Мне страшно.

Он жестом успокоил ее, но лицо его оставалось застывшим, взгляд был неподвижен, губа отвисла.

— Мне хотелось бы что-нибудь вам подарить, — сказал он наконец. — Деньги — это само собой разумеется, — он положил их около ее платья, — но мне хотелось бы самому что-нибудь выбрать для вас. Что бы вам доставило удовольствие?.. Что-что?

Она повторила яснее, но он уже понял ее шепот: «Ночную рубашку».

Вечерело. Мейяр взглянул на удалявшееся такси со страхом ребенка или солдата, которого только что поставили в засаду, и вот все подразделение его покидает.

Он вошел в ворота: «Надо же, не заперты». «Ты когда-нибудь научишься запирать ворота?» — это был один из раздражавших его каждодневных вопросов. Сколько раз по вечерам он специально оставлял их открытыми настежь, чтобы надругаться над священным ритуалом, ради самоутверждения!

Проходя мимо гаража, он заметил белую машину. «Половина восьмого? Марта сидит за столом... Как тогда, когда я уходил... Мне надо было, наверно, все же предупредить ее, но как?» Он был очень взволнован и убеждал себя, что это из-за Марты, но на самом деле он волновался из-за себя. «Надеюсь, что она не слишком страдала все это время...» Эта мысль была неискренней; по правде говоря, он надеялся, что она страдала: что еще могло бы послужить ему «охранной грамотой», гарантией своего существования?

Перед дверью в столовую он остановился. Посмотрел на руку, которая дрожала против его воли и, казалось, не принадлежала ему. Еще минуту он помедлил, как в день своего ухода, и наконец открыл дверь: комната была пуста.

Он успел заметить, что она изменилась: новые абажуры, современный ковер... Он успел все это заметить до того, как его охватила ужасная тревога. Он чуть не закричал: «Марта!» — но побоялся звука собственного голоса в доме, который покинул.

Должно быть, Марта в своей комнате. Мейяр вышел из столовой и с радостью отметил, что в люстре на лестнице по-прежнему не хватает лампочки. Он почувствовал незнакомый запах духов, но ни на секунду не усомнился в том, что это духи его жены. Запах уже был привычным в доме.

Он с трудом поднимался вверх — ноги у него подкашивались. Он положил руку на перила, и это прикосновение подействовало на него благотворно. Такое облегчение испытывает пловец, нащупав дно. Запах духов становился все сильнее: можно было бы сказать, что он отступал перед вторгшимся в дом неприятелем, стягивая все силы своего незримого войска к комнате, перед которой Мейяр теперь стоял не двигаясь.

Постучать? Нет, это значило бы унизиться, сдаться на милость победителя. А если Марту охватит изумление, радость, волнение, не будет ли этот внезапный наплыв чувств опасным для нее? Но в конце концов, он ведь не побоялся полгода назад объявить безо всяких предупреждений: «Я ухожу».

Он толкнул дверь и вошел. Госпожа Мейяр одевалась перед зеркалом. На ней было незнакомое ему платье. Как она похудела! Впервые сердце у него сжалось от угрызений совести: до этого он только жалел жену...

Госпожа Мейяр обернулась и сразу же узнала его, а он с трудом узнавал это похудевшее, ставшее жестким, умело подкрашенное лицо. Минуту они молчали (казалось, к этому молчанию прислушивается весь дом); затем госпожа Мейяр сделала нечто совсем неожиданное: посмотрела на часы с таким же видом, как прежде, когда говорила: «Это так поздно ты возвращаешься?» Сам он не нашел ничего умнее, чем сказать:

— Ты постриглась?

Он понял, как бессмысленны эти слова, и сразу же добавил:

— Я вернулся.

— Вижу, — сказала госпожа Мейяр, еле удержавшись (и это было видно), чтобы не пожать плечами. — Ты ненадолго... или насовсем?

— Я вернулся, — повторил он со значением.

Она повернулась к зеркалу, чтобы надеть серьги, — этих серег он тоже никогда не видел.

— Я ведь не знала, что ты вернешься сегодня. Я ужинаю в ресторане с Жаном-Луи.

— С Жаном-Луи?

— С Жаном-Луи Каррье, доктором Каррье.

— Я не знал, что его зовут Жан-Луи, — тупо пробормотал Мейяр.

— К счастью, он оказался рядом, — желчно заметила его супруга, и на ее лице появилось прежнее выражение. — Это он помог мне выйти из депрессии.

— Марта!

Он приблизился к ней, собираясь попросить у нее прощения, хотя чувствовал, сам не зная почему, что это будет ошибкой. Она, должно быть, догадалась и замахала обеими руками, как бы заранее отталкивая его.

— Можно я тебя поцелую? — попросил он.

— Ты вымажешься помадой!

— Ну и пусть.

— Но мне придется снова краситься, а я уже опаздываю.

— Хочешь, я тебя подвезу?

— Нет, — ответила она, — я научилась водить машину. Кстати, для меня это большое развлечение.

— Ты купила новую машину? Мне показалось, что...

— Только перекрасила. На какие деньги я могла бы купить машину?

Мейяр опустил голову.

— Ну, — сказала она, вздохнув, — мы переговорим обо

всем этом позже, лучше всего завтра утром, потому что сегодня я вернусь довольно поздно. Ты не обедал?

— Нет, но я не...

— В холодильнике есть телятина. Я помню, ты не любишь холодную телятину, но откуда мне было знать, что ты вернешься?

## «Ваше превосходительство!»

Офицер шел на цыпочках, но при каждом его шаге ордена, аксельбанты и парадная сабля позвякивали, нарушая тишину. Цирюльник следовал за ним по пятам, похожий на пса, который сопровождает разукрашенный катафалк. В одной руке он нес миску с мыльной пеной, в другой сжимал опасную бритву.

— Сю да, — прошептал офицер, приоткрывая дверь. — И поторапливайтесь! Церемония начнется через десять минут.

Хотя парадная гостиная, куда офицер втолкнул цирюльника («Ну, живо!»), не была ему видна, он склонился в глубоком поклоне, зазвенев медалями, после чего ретировался.

Оказавшись в комнате, цирюльник тоже почтительно поклонился, прежде чем приблизиться к своему клиенту.

— Вот и я, ваше превосходительство. Сию минуту вас обслужу. Есть ли здесь салфетки? А, вот они. Все в порядке.

Он принялся старательно намыливать прославленное лицо.

— Простите великодушно, ваше превосходительство, но вы сейчас вылитый старый пастырь. Вот о таком мы и мечтали: «пастырь добрый, который зовет своих овец по имени и жизнь полагает за них» — примерно так сказано в Евангелии. Еще немного пены сюда, на скулы... Скажу я вам, ваше

превосходительство, здорово мы просчитались. Я о добром пастыре... Ба! Вы же знаете, ваше превосходительство, все цирюльники любят поболтать. На их слова никто не обращает внимания... Но раз уж мне выпала такая честь, я воспользуюсь случаем и выскажу вам все, что у меня на душе, не обессудьте. Я ведь говорю сейчас в некотором роде от имени миллионов, десятков миллионов ваших подданных, которые никогда и не надеялись высказаться. Да, ваше превосходительство, ведь ваших овец вы зовете по имени, только если они высокородные, богатые, могущественные. А остальных... Поначалу вы еще навевались к нам в провинцию. Мы готовились принять вас со всей торжественностью, какая только по силам беднякам, с жалкой нашей расточительностью, за которую нас осуждают богачи. Мы наряжались как на свадьбу, но вы, ваше превосходительство, вы нас отвергли. Вы пронеслись над нами так быстро, как пронесется облако в бурю, и были так же недосыгаемы, как облако. Мы не успевали ни прикоснуться к вашей руке, ни даже поймать ваш взгляд. После долгих приготовлений, после всех наших нелепых триумфальных арок мы оставались в дураках... Но в те времена вы хоть изредка показывались нам, а потом, когда вы укрепились на троне... Да-да, я скоро закончу... А вы поседели, ваше превосходительство, да и я тоже. Сколько же лет вы не видели ваших подданных? Вы еще не забыли их лица? Через десять минут они придут к вам толпой, но такие церемонии, как сегодня, случаются не часто... И, как правило, слишком поздно... Вы помните детишек, которых наши жены протягивали к вам, словно прося благословить их, когда вы проезжали через деревни? Детишки эти давно выросли, теперь они взрослые люди. А известно ли вам, что они думают, чего хотят, чего... — простите мою дерзость! — чего они требуют?.. О-о! Я вас порезал, ваше превосходительство! Простите великодушно! Будем считать, что в память о моем двоюродном брате Альберто Моралесе. Ну да, вам это имя ничего не говорит, а вот ваш начальник полиции наверняка его не забыл: ра-

бочие на свинцовых рудниках, десять лет тому назад... Они отказались работать больше восьми часов и не хотели оставаться в шахтах по ночам. Кто же им ответил? Не администрация и не министерство, а ваши отборные войска, ваше превосходительство. Зачинщиков — стало быть, самых смелых — судили при закрытых дверях и приговорили к смерти через повешение. С тех пор на рудниках не было больше «беспорядков». Но через несколько лет у вас начались неприятности из-за студентов. Молодые так безрассудны! Они требовали всеобщих выборов и хотели иметь право собираться, чтобы свободно высказываться... Нет, вы только подумайте! Если каждый начнет высказываться, что станет со страной, не так ли, ваше превосходительство? Я... Ох! Опять порезал! Еще раз простите меня! Не надо бы мне болтать за работой, но ничего не могу с собой поделывать. Уж эти привычки! У всех свои привычки, большие и маленькие: у цирюльников, у министров, у генералов... И у полицейских тоже, ваше превосходительство. Глядя на этот порез, я вспомнил — о, сходство, конечно, очень отдаленное! — труп Рамона Гонсальво, студента, который ваши полицейские выдали нам вечером шестнадцатого сентября. Они хотели выведать у него кое-что, а этот дурень уперся и никого не назвал. Хочешь не хочешь, а пришлось им... Я, конечно, понимаю, во имя безопасности государства... а вот он этого не понимал. Женщины всю ночь дежурили около него. Тело накрыли простыней: зрелище было не из приятных. Да и лицо тоже... Никакого сравнения с этой царапиной, за которую я прошу у вас прощения, ваше превосходительство. Ну вот, я уже заканчиваю... Я еще многое хотел бы вам сказать, но наверняка не сообщу ничего нового. Теперь-то вы видите, что творится вокруг вас! И как много времени потеряно, ваше превосходительство! Если б можно было все зачеркнуть и начать заново! Наверно, вам хотелось иногда так поступить, но эти люди, которые вас окружают, которые вам всем обязаны, и забыли об этом: они вас поддерживают, но так, как жандармы — арестанта. Какая неле-

пость, ваше превосходительство... Еще минутку! Вот, я стираю остатки пены — и вы готовы к церемонии... Надеюсь, что...

— Ну? — послышался голос офицера, который вошел неслышными шагами. — Готово? Да вы его порезали! Могли бы поаккуратнее!

— Господин... полковник, — наобум ответил цирюльник, — не так-то легко брить покойника! Но кровь уже не льется. Кровь больше не будет литься.

## Побежденный

У него осталась только солдатская пилотка. Видавшие виды солдатские ботинки и военную форму, в которой он даже спал во время отступления, он сдал еще в демобилизационном центре. А оружие бросил по дороге, как и многие другие. Тем, кто сохранил оружие, похоже, дадут орден — чтобы придать этой позорной короткой кампании видимость настоящей войны, а разбредаящимся, как стадо, солдатам — видимость героев. Взамен тряпья защитного цвета ему выдали серый костюм, который был ему совсем не к лицу, но он с крестьянской практичностью рассчитывал носить его, и притом долго. Костюм-то бесплатный... Что ж, он имел на него полное право: не потому, что защищал Республику от нашествия (в том, что все так кончилось, вина не его, а командования), а в возмещение его старого-престарого костюма, который он оставил в казарме в сентябре прошлого года и который теперь, в хаосе отступления, гнил где-то на помойке. И еще потому, что его мастерская на замке, а сад в запустении уже девять месяцев, — только у него одного, ведь во всей деревушке он был единственный мужчина призывного возраста, единственный, кто пошел на эту странную войну.

Вот почему он получал весточки и посылки от всех жителей деревни, вдруг став их общим сыном. Когда вахмистр приносил ему очередной конверт, он на мгновение закрывал глаза, чтобы представить себе лица стариков, их сидящие или совсем белые волосы. «Ну и семья же у тебя!» — восхищались его товарищи с легкой завистью. «Да, — отвечал сирота, — большая...»

А чем он занимался сейчас, сидя в купе поезда, который вез его домой? Сдвинув пилотку на затылок, закрыв глаза, он перебирал в памяти эти лица; попутчики без особой симпатии разглядывали этого улыбающегося лжеслепого.

Выйдя с вокзала, он с удивлением увидел, что город не изменился. Его не изуродовали никакие разрушения, жители, казалось, все так же были поглощены своими мелкими повседневными делами, как и год назад, словно за это время в истории Франции ничего не произошло. Он даже разозлился на них за это, пока не заметил, что на пути его попадаются одни только женщины, дети и старики. Тогда он подумал о толпах пленных, похожих на стадо без пастуха, которых гнали на восток серо-зеленые овчарки, и испугался, что сам вызывает злость у прохожих.

В ожидании автобуса он зашел в кафе. Плоскостопый официант, шаркая ногами, вытирал тряпкой пустые столики. На стенах висели рекламные афишки, все так же упорно, как прежде, призывавшие: «Требуйте натуральную хинную настойку» и «Заказывайте охлажденный вермут с лимонной цедрой», но выпить он смог лишь безвкусной теплой воды с сиропом. Он подумал, что все теперь станут жить, как разорившиеся аристократы среди жалких остатков былой роскоши: делать вид, будто ничего не произошло, отказывая себе во всем. Впервые в жизни он задал себе вопрос: а откуда, собственно, берутся хинная настойка, вермут и лимоны? Слава богу, кожа (он был сапожником) спокойно пасется в окрестностях городка на невспаханных полях.

— Что, парень, это все, что у тебя осталось? — спросил официант, показывая на пилотку пальцем с грязным ногтем.

Тот не знал, что ответить. — Даже воспоминаний не успел нажить, — добавил он беззлобно.

«Наверно, он был на той, великой войне», — решил солдат, и эта мысль была ему неприятна. Он молча расплатился, вышел, сунул пилотку в карман и сел в еще пустой автобус, в котором, однако, стоял запах пота.

В течение многих месяцев ему приходилось ездить только в крытых брезентом грузовиках, набитых молчаливыми солдатами, и он был удивлен, когда в автобус стали садиться одна за другой беззубые старухи, бледные монахини. Почему-то он испытывал облегчение от того, что не встретил никого из своей деревушки. Больше всего он боялся увидеть знакомое лицо, а ведь час назад, в поезде, он вспоминал о них с радостью. «Неужели не сядет ни один мой ровесник?» — думал он с удивлением и досадой на окружающих и, не в силах разобраться в своих чувствах, был одновременно и огорчен, и взбешен. Он видел деревья, дома, все места своего детства, но это его не утешало. Этот неизменный, равнодушный пейзаж... Он вдруг вынул пилотку и надел ее.

Выйдя из автобуса у покосившегося столбика, на котором он раньше любил посидеть и поболтать ногами, отдыхая на пути в школу, он протянул шоферу два франка за проезд.

— Военнослужащим — бесплатно.

— Я уже не служу! — крикнул он, сунув монеты ему в ладонь.

Он соскочил на землю и даже не оглянулся: ему казалось, что за стеклами двадцать лиц повернуты к нему, двадцать пар глаз смотрят на него, а ему не хотелось встречаться с ними взглядом.

На тех же деревьях такие же листья, а канава на пути к ферме Теруана источала привычное зловоние.

Старый Теруан подвязывал лозы на своем винограднике, он заметил парня, но головы не поднял. Когда тот поравнялся с ним, он спросил:

— Ну что, парень, закончилось все?

— Да, к счастью!

— Думаешь, к счастью?

Старик притворился, будто никак не справится с непослушной лозой, молчание его не тяготило.

— В деревне все по-старому? — спросил солдат.

— И да, и нет.

— Ну так как же, все нормально?

— Никто не умер, если тебя это интересует.

Парень немного помедлил. Он ненавидел сейчас старика, который упорно не смотрел на него.

— Ну, всего доброго!

Он ушел широкими шагами, ему хотелось плакать, а еще больше — свернуть кому-нибудь шею, вот только кому? В деревне остались одни женщины и старики.

Он увидел, что навстречу ему идет мамаша Шеню, она тащила на веревке козу, которая была хоть и сильнее ее, но куда менее упрямой. Старуха стала такой скрюченной, что не могла оторвать взгляда от земли. «Хоть она меня не увидит», — подумал он и бросился в заросли слева от дороги, чтобы отсидеться там, пока старуха не пройдет мимо. Поступок этот, да и сама мысль были под стать провинившемуся школьнику, и он снова разозлился на себя.

Мамаша Шеню надолго задержалась возле виноградаря. «Обо мне говорят», — подумал парень, и лицо его запылало, но уже не от гнева. Он вдруг вспомнил, что у старухи два сына погибли на войне. «На большой войне, естественно». Он ловко влез на дерево, добрался до толстых веток и осмотрел оттуда деревню. Он поискал взглядом и нашел справа свой домишко с закрытыми ставнями, похожий на большой закрытый глаз, тогда как другие дома глядели прямо на него. Он без труда узнал всех черных муравьев на улице и в окнах. Вот старая госпожа Беррио выходит из церкви, вот отец Деталль, прихрамывая, бредет по дороге к своей кузнице, а братья Вильрон, шагая в ногу, возвращаются из сада. Ему даже показалось, что он видит отсюда, издалека, на пиджаке мэра ленточку военного ордена в палец шириной. И каждый раз, узнавая кого-то, сидящий на де-

реве мальчик с пальчик испытывал детскую радость, оттого что он видит людей, а они его нет. Посреди деревни, высокий и прямой, возвышался памятник павшим солдатам.

— Мертвые, — вслух подумал парень, — они все мертвые. — Он пытался убедить себя, что именно в этом причина его неприязни к ним и страха перед ними. Покинув свой наблюдательный пост, он пошел той же дорогой, но на этот раз прочь от деревни.

Проходя мимо Теруана, он не замедлил шага, но старик сам его остановил.

— Слушай, парень, — сказал он не так спокойно, — ты никак уезжать собрался?

— Вот именно.

— Как? Ты нас покидаешь?

— Я решил работать в городе, если вы об этом.

— Но ведь здесь все по-старому!

— И да, и нет.

Он повторил слова старика, вновь обретая человеческое достоинство, маленькое достоинство выжившего. Проходя мимо покосившегося столбика, который был для него как бы последней границей, он бросил в него свою пилотку побежденного солдата.

## Красноносый

«Состоятельная» — это слово теперь почти не употребляется. Однако в нем есть весомость, благопристойность, пусть и с легким налетом лицемерия. По смыслу оно противоположно скорее слову «расточительная», чем слову «бедная». Так вот, у нее был вид состоятельной женщины. Он наблюдал за ней сквозь запотевшее оконное стекло: одна в этом бистро, за дальним столиком, явно смущенная тем, что находится в подобном месте, но и слегка бравирующая

своей смелостью... Он не спускал с нее глаз, не замечая, что его толкают прохожие. «Должно быть, она очень одинока, если решилась прийти с ю да , — подумал о н . — И видимо, истосковалась по мужскому обществу: ведь в других кафе много женщин, здесь же можно быть уверенной, что встретишь только мужчин».

Он еще долго не спускал внимательного взгляда с дамы в лиловом: да, она, безусловно, не из бедных, да к тому же еще довольно привлекательна. Тогда он сгорбился и вошел в зал с видом скромного просителя, который вполне соответствовал его строгому костюму вдовца.

Она видела, как вошел этот человек, одетый во все черное и «преждевременно постаревший от горя» (она любила романтические выражения). Перенесенным страданиям она приписала и его красный нос, который на самом деле был обязан своим цветом лишь зимним холодам, а быть может, и злоупотреблением горячительными напитками, в которых он искал утешения. Но сейчас этот господин с блуждающим взглядом вовсе не был похож на человека, который ищет утешения в бистро. Дама в лиловом почувствовала, что их роднит порядочность и одиночество — только их одних в этом ужасно шумном и прокуренном зале. Подробность заставила особенно сжаться ее сердце: на пиджаке незнакомца не хватало одной пуговицы. Это говорило о многом: об одиночестве, беспомощности, заброшенности. Она поняла, что она могла бы стать утешительницей, а если богу будет угодно (она была очень религиозна), то и матерью, сестрой, а может — кто знает? — и чем-то большим для этого незнакомца, и тогда ее жизнь, разбитая смертью Эдгара, наконец обретет смысл.

А человек в черном, казалось готовый вот-вот заплакать, высматривал место подальше от стойки, где царили самодовольные болтуны. Дама в лиловом украдкой наблюдала за ним. Все места были заняты, в этом он убедился заранее, прежде чем войти в кафе. Проходя мимо ее столика, он принял скорбный вид и даже что-то пробормотал. «В каком

он глубоком отчаянии, если разговаривает сам с собой, — подумала она. — И со мной так бывает...» Она осмелилась обратиться к нему.

— Сударь, я вижу, вы ищете свободное место, — тихо сказала она. — Если мое присутствие вам не помешает...

— Это было бы неудобно, мадам, — пробормотал он. (Ему даже удалось покраснеть.)

— Сразу видно, с кем имеешь дело, — продолжала она, опустив глаза, — это я должна была бы извиниться за то, что обратилась к вам. Не сочтите это нескромностью, вы были так... так растерянны...

Тут его осенила гениальная идея: он взял ее руку в лиловой перчатке и прикоснулся к ней губами.

Он не переставал благодарить ее за «милость» (слово старомодное, как и слово «состоятельная», и оно тоже внушает доверие). Появился официант, привычным движением вытер мраморный столик.

— Что вам подать, сударь?

— Чашку вербенового отвара, пожалуйста.

«Официант решит, что у нас свидание», — подумала она, и эта мысль вызвала у нее и испуг, и чувство восторга.

Прошло много времени, прежде чем они заговорили о зиме, которая, бесспорно, в этом году была очень ранней, потом об автомобилях — говорят, действительно... и так далее. Они едва осмеливались взглянуть друг на друга. Она уронила сумочку, они одновременно наклонились, чтобы поднять ее, руки их соприкоснулись, и когда оба выпрямились, краска залила их лица.

Они договорились (это он предложил, стесняясь и путаясь в словах) о свидании на завтра, но в другом месте. Он уплатил за обоих, несмотря на протесты дамы в лиловом. «Позвольте мне доставить вам это маленькое удовольствие. Быть может, они у вас так же редки, как и у меня». Оба вздохнули. На следующий день они условились встретиться на воскресной мессе без четверти одиннадцать, ибо, как выяснилось, принадлежали к одному приходу.

— Как же случилось, — неосторожно спросила она, — что я вас никогда раньше не видела?

— Я больше там не бываю, — сказал он, отвернувшись, — с этой церковью у меня связаны слишком грустные воспоминания...

Она ни о чем не спрашивала. Утешительница должна все понимать без слов.

Спустя два года человек в черном стоял у чайного салона и наблюдал через оконное стекло за посетительницами. Он вновь надел костюм вдовца, который теперь был ему тесен, потому что за эти два года он сильно располнел: когда катаешься как сыр в масле, то не похудеешь. Два года жизни с Терезой (дамой в лиловом), изысканные кушанья, а главное, путешествия, так сказать, непрекращающиеся каникулы помогли ему привести в порядок свои дела, однако еще больше этому способствовал ее счет в банке. Взяв на себя управление ее состоянием, действительно довольно значительным, он сумел сделать так, что немалая часть денег потихоньку перекочевала в его карман. Тереза же ничего не замечала, считая единственной причиной своих убытков его затянувшееся невезение. «Несмотря на все ваши старания, мой милый...» — говорила она ему.

«Мой милый» — вот предел нежностей, которые допускались между ними, ибо человек в черном в этом отношении был очень строг и не допускал никаких вольностей. Не то чтобы он не любил женщин, но опыт убедил его, что неутоленное желание способствует прочности отношений, во всяком случае, когда речь идет о людях из хорошего общества. К тому же он не хотел рисковать ситуацией, сложившейся в результате его сложной тактики, ради удовольствия, которое легко можно получить на стороне, тайком. «Любовь, — он хотел сказать — секс, потому что истинную любовь испытывал только к своей матери и к деньгам, — чревата непредвиденными опасностями. Это не для меня...» Он неукоснительно следовал этому правилу. Так, к примеру,

в прошлое воскресенье (разрыв с дамой в лиловом произошел накануне: он не позволял себе никакого отпуска, во всяком случае, за свой счет, не соблюдал положенного «траура»!), так вот, в прошлое воскресенье он отказался от весьма выгодной добычи — состоятельной дамы в полутрауре, за которой долго наблюдал в церкви святой Клотильды, — только потому, что почувствовал к этой даме физическое влечение. Нельзя служить сразу двум господам: демону наживы и демону похоти.

А вот сейчас здесь, в чайном салоне... к тому же, кажется, эта дама слегка прихрамывает. Он потер руки от удовольствия.

Потом он снял свою черную шляпу, взъерошил волосы (когда же они совсем поседеют!), чтобы привести их в беспорядок и придать себе жалкий вид. Он расслабил мускулы лица, и оно обмякло, будто парус без ветра. И если бы не чековая книжка в левом внутреннем кармане, у самого сердца, можно было бы подумать, что это другой человек. Он дождался, пока все столики будут заняты. Благословенный момент, когда она ему предложит — он был в этом уверен — место за своим столиком! Прежде чем войти, он нанес последний, но решающий штрих — оторвал пуговицу от пиджака.

## Возвращение

Воротничок рубашки не поддавался, его не удалось застегнуть ни с пятой, ни с шестой попытки. Те несколько недель, пока Д. выздоравливал, словно вернули его в счастливую пору летних каникул. В последние дни перед отъездом он даже радовался про себя, совсем как прилежный ученик, что скоро опять будет работать...

И все же, когда он сошел с поезда, у него на миг потемне-

ло в глазах и перехватило дыхание — от гула вокзала, от толчеи, где каждый норовит отпихнуть другого, от рекламных щитов, со всех сторон теснящих стадо молчаливо надушенных пассажиров, и даже от асфальта под ногами, сначала на перроне, потом на тротуаре. Потные озабоченные лица людей вокруг показались ему отвратительными, но, увидев себя в зеркальной витрине, он понял, что его собственное лицо ничем не отличается от других.

Спустившись в метро, он окончательно почувствовал себя чужим. Афиши все были новые, незнакомые; из лабиринта переходов доносились несвязные обрывки мелодий; в вагоне ехало много цветных. У всех пассажиров был неприятно блуждающий взгляд.

Спал он плохо — отвык от запаха своей комнаты, от своего постельного белья. Он проснулся задолго до звонка будильника, лежал с открытыми глазами, ни о чем не думая, в полутьме, и она как будто успокаивала его. Не без опаски распахнул он ставни в эту чуждую ему столицу и впервые со времен романтической юности попытался представить себе миллионы людей, укрывшихся за стенами всех этих домов. И хотя они были внизу, под ним, он все равно чувствовал себя раздавленным их числом, их непохожестью друг на друга и их покорностью, главное, покорностью. «Сколько их вот так же сейчас распахивает ставни?» Но от этой мысли он не ощутил прилива братской нежности, напротив, его охватил ужас.

Д. поспешил в свою очередь включиться в повседневный ритуал: надо умыться, побриться... Он с раздражением входил в привычную колею, мысленно отмечал каждое свое движение. А когда поймал в зеркале еще и свой наблюдающий взгляд, ему стало страшно.

Вот тут-то Д. и пришлось повозиться с воротничком. Он прищемил себе кожу на шее. Разглядывая ее в зеркало, он почему-то вспомнил о морщинистой шее черепахи. «Ну-ну, — успокаивал он себя. — Я ведь и не потолстел вовсе». Не потолстел, но не только шея — весь он как-то раздался от

вольной жизни. Его верные спутники, разношенные ботинки, тоже стали неудобны; и костюм был узковат в плечах и в талии. Он отогнал (вернее, с трудом загнал внутрь) мысль о том, что тесный костюм — это своего рода символ, что теперь все — и квартира, и работа, и этот город, вообще вся его жизнь — вот так же станет ему тесно. Он еще раз оглядел себя в зеркале: «Точь-в-точь принарядившийся крестьянин» — и принужденно засмеялся.

В конце концов Д. решил не бороться больше с воротничком и потому чуть было не забыл про галстук. Он открыл шкаф: пестрые полоски материи, безжизненно повисшие одна подле другой, словно мертвые змеи или жены Синей Бороды, показались ему смешными и ненужными. «И подумать только, что каждое утро большинство мужчин тщательно выбирают, какой галстук надеть...» Д. снял первый попавшийся и с неудовольствием отметил, как легко и привычно вывязался узел.

Так же заученно он разложил по карманам платок, кошелек, бумажник, ключи... Почему, собственно, в этот карман, а не в тот? Жест за жестом он входил в прежний образ, образ, который, как он сейчас понял, давно уже, а вернее, всегда тяготил его и был ему самому ненавистен. Но тогда, собственно, кто же он сам?

Выходя, он машинально сделал все как прежде: запер квартиру, спустился по лестнице, толкнул, а не потянул на себя дверь метро... Когда это, прежде? Прежде, до болезни, до отъезда туда, где он жил без тревог, не заботясь о времени, окруженный вниманием и тишиной. Прежде, чем он узнал живительный воздух, могучие деревья, мирные пастбища... До этих последних недель — сколько же их прошло? — когда можно было ошибиться, называя день, потому что это не имело никакого значения...

Д. явился в министерство вовремя, хотя и не спешил и ни разу не взглянул на часы. В просторном вестибюле с колоннами, напротив мемориальной доски с именами павших в двух мировых войнах, он как бы новыми глазами увидел

огромный указатель отделов, от которого веяло таким же холодом: лестницы А, Б, В под арками I, II, III... Совсем как на кладбище. Если бы на министерство упала бомба или если бы оно сгорело в сорок четвертом... Так что ж, его отстроили бы заново, в другом месте, но совершенно таким же! Когда муравейник разрушают до основания, его обитатели, не теряя ни минуты...

Д. поднялся к себе в отдел (арка II, лестница В, 4-й этаж, коридор Г) и застал там все, как было, — никаких изменений. Он внутренне усмехнулся, и этот тайный смешок как бы отделил его от всего и от всех. А между тем, произойди в его отсутствие хоть малейшее изменение, он бы ударился в панику.

— Вы хорошо выглядите! — говорили ему все по очереди.

Ему почудился упрек там, где его не было и в помине: коллеги выражали лишь доброжелательное безразличие. «Им приятно говорить мне это, — подумалось ему. — Так они самоутверждаются...»

В соседней комнате его ожидала новость:

— Помните В.? Бедный, у него инфаркт!

— Инфаркт теперь в моде, — ответил он, не выражая сожаления, чем разочаровал собеседника.

Плевать он хотел на В., да и на них на всех, по правде говоря! И потом, почему «бедный»? Еще неизвестно, кому хуже, В. или им всем.

Д. спросил у сотрудников, кто заменял его во время болезни. Да никто! — заверили его, чтобы успокоить, но у Д. болезненно сжалось сердце: «Значит, моя работа никому не нужна...» Гигантская игра в бирюльки, вот что такое наше министерство, да и вся администрация! Если действовать осмотрительно, то можно убрать по одному всех чиновников, и ничего не изменится.

Чтобы увидеть Мариетту, он прошел три отдела. Она сидела за столом, ее бедер видно не было, а свитер из грубой шерсти («моя дерюга» — говорила она) скрывал грудь,

которую воображение не раз рисовало Д. в течение всех этих недель...

— А вот и вы! — сказала она. (И даже голос ее утратил ту особую притягательную силу, которой обладает для мужчины голос невидимой собеседницы, — это чудо повторяется при каждом разговоре по телефону.) — Вас не было целый месяц!

Между тем он отсутствовал девять недель. «Решительно, я никому здесь не нужен», — с горечью подумал Д.

— Пообедаем вместе в столовой, — предложила она. — Сегодня понедельник... значит, в меню рагу под белым соусом. Но, знаете, они стали хуже жарить картошку. Мы даже подали жалобу.

Д. прислонился к стеллажу: при мысли о том, что так будет всегда — рагу под белым соусом по понедельникам и говядина по-бургундски по вторникам, — у него закружилась голова.

— Вы еще не совсем поправились? — с сочувствием спросила Мариетта. — Вы едва стоите на ногах...

— Нет-нет, все в порядке. — Главное — не выделяться, не привлекать внимание. — Вы говорили, картошка... Как это неприятно!

Он вдруг вспомнил о своей кухне, он оборудовал ее в прошлом году. Образцовая кухня. Прежде чем остановиться на этой модели, он пересмотрел кучу проспектов, обходил магазины, теребил продавцов, потом мастеров, не говоря уже о служащих банка, оформлявших кредит, — не меньше двух десятков людей, которые для того и существуют, чтобы исполнять изо дня в день одну и ту же работу, как и он сам, но им-то, идиотам, это нравится! По вечерам они рассказывают женам, что произошло днем в конторе, читают специальные газеты, вступают во всякие общества, платят членские взносы, защищая права своей профессии, а потом уходят на пенсию, потратив сорок лет жизни на продажу образцовых кухонь разным там Д., которые ими и не пользуются, в лучшем случае варят по утрам себе кофе...

— О чем вы задумались, мсье Д.? — спросила Мариетта. Они все еще церемонно называли друг друга «мсье» и «мадемуазель» и — Д. внезапно понял это — ближе никогда не станут.

Время в этот первый рабочий день тянулось бесконечно, как бывало когда-то в школе после летних каникул. С приближением вечера Д. охватила паника. Гнусное место это министерство, но мысль о том, что надо куда-то снова идти, еще непереносимее. И потом, эти ранние сумерки — напоминание об осени, а за осенью последует зима. О весне Д. как-то не вспомнил. «А может, жениться? На ком попало, ну хоть на той же Мариетте? Но что это, собственно, изменит?» Коллеги посматривали на часы, начинали собираться; две девушки пошли в туалет: они вернутся оттуда слишком ярко накрашенными, распространяя вокруг запах дешевых духов, который прежде волновал Д., но теперь его уже заранее мутило. «Значит, ты окончательно зачерствел, только с самим собой и носишься, идиот!» Впрочем, и сам-то себе он противен... Сидя за столом и склонившись над бумагами, он ждал, пока все разойдутся. Ну что он сделал сегодня полезного? Каждый, проходя мимо, говорил ему: «До завтра!» «Неужели они не понимают, как ужасно то, что они говорят?» — недоумевал Д.

Комната опустела, и тогда он вдруг ощутил ее запах, запах пыльной бумаги, окурков, пота. Остывая, он усиливался, как в опустевшем театре. Лучше уж работать в больнице или на фабрике удобрений, да где угодно, только чтобы не было этого запаха.

В комнату заглянул начальник, наверно, намечал, кому завтра дать нагоняй: кто забыл выключить свет, закрыть картотеку, накрыть машинку чехлом...

— Мое почтение, Д., значит, вы поправились? Нам вас очень не хватало, — сказал он любезно. (Только с девушками, словно мстя им за то, что вынужден терпеть грубость своей собственной дочери, он бывал нарочито невежлив.)

— Мне т о ж е , — трусливо поддакнул Д. — Мне тоже не

хватало вас всех.

— Правда?

Для чего он сказал эту ложь? Ведь ему все равно не поверят. Значит, трусость вошла в его плоть и кровь? Д. в бешенстве выбежал из комнаты, нарочно оставив гореть свет. Он презирал себя. Зеленый сигнал светофора погас, когда он был еще на мостовой, — машина проехала совсем близко, и парень за рулем опустил стекло и обругал его кретином.

У входа в метро, загораживая дорогу остальным, болтали и смеялись несколько молодых людей. Пожилой мужчина в берете сказал им: «Отойдите в сторону, вы всем мешаете», и они тотчас послушались. А Д. рассердился на себя за то, что обошел группу, не осмелившись сделать им замечание. Внизу полицейские с каменными лицами проверяли документы у всех парней с курчавыми или длинными волосами и у всех, кто нес гитару. Пассажиры трусливо сторонились их, будто зачумленных; Д. обратил на это внимание, только когда сам поступил точно так же. Он шел по длинному переходу, стены которого, насколько хватал глаз, пестрели одинаковыми плакатами с широкими белыми полями. И какой-то озорник методично нарисовал на каждом белом поле устрашающих размеров фаллос. Пассажиры упорно делали вид, что ничего не замечают. Только дети смотрели на рисунок во все глаза, и ему стало стыдно за них, а впрочем, он и сам-то сразу подумал о Мариетте. Он зароботал локтями, чтобы пройти быстрее, заранее уверенный (отчего злился еще сильнее), что кто-нибудь обязательно бросит ему в спину: «Этот, конечно, торопится больше всех!»

Да, он торопился больше всех, торопился выбраться из духоты, из толчеи, подальше от шарканья ног, от музыки, орущей откуда-то из глубины лабиринта и преследующей пассажиров по всем переходам. Торопился домой, чтобы запереть ставни, задвинуть засов и не видеть «всех этих людей»...

Грузный, медлительный мужчина задерживал его: когда

Д. пытался обогнать его справа, тот тоже забирал вправо, а потом точно так же влево, неизвестно почему, и это повторилось дважды. Д. рассердился на него, хотя совершенно напрасно — не мог же тот видеть спиной. И не просто разозлился, а возненавидел этого толстяка, другого слова не подберешь, возненавидел его широкий зад, его жирный затылок и даже кургузую шляпу.

— Вы что, не можете побыстрее?

— Если вы торопитесь, — буркнул толстяк, даже не обращиваясь, — возьмите такси!

— Кретин!

Оскорбленный толстяк обернулся, и Д. увидел его лицо, как раз такое, каким он себе его представлял и какое заранее ненавидел.

— Как вы смеете?!

С коротким рычанием, которое он сдерживал с самого утра, Д. бросился к толстяку и грубо толкнул его. Тот схватил Д. за руки. «Сумасшедший!» — взвизгнула какая-то женщина, и Д. еще больше обозлился. Ему захотелось влупить ей пощечину. Он ни разу не дрался со школьных лет, и толстяк легко взял над ним верх. «Надо вызвать полицию!» — сообразил кто-то. Вокруг дерущихся собралась толпа, точно такая же, как вокруг негра, который в переходе неподалеку играл на губной гармонике. Им только бы поглазеть!

При виде людей в форме зрители зашевелились. «Что тут у вас происходит?» Это были те самые полицейские, которые проверяли документы у подозрительных молодых людей.

— Вот этот... он толкнул меня... без всякой... причины, — объяснил задохнувшийся толстяк.

— Правда, — подтвердили из толпы. — Мсье спокойно шел, а этот ни с того ни с сего...

«Держи-хватай!» — злорадно усмехнулся Д. Его с утра не оставляло чувство, что все в заговоре против него. Полицейские попытались развести противников.

— Не смейте меня трогать! — вскрикнул Д.

Но полицейский (со слишком длинными волосами и вислыми усами; будь он в штатском, у него наверняка потребовали бы документы) не отступил, и Д., взмахнув кулаком наугад, попал ему в щеку.

— Да он пьяный, — слышалось в округ. — Наверняка иностранец.

Полицейский справился с ним без труда.

— Предъявите ваши документы... да, оба.

Оскорбленный толстяк, все еще тяжело дыша, вынул бумажник, такой же пухлый, как его владелец, и предъявил все доказательства своей благонадежности. На одном документе была даже трехцветная, как национальный флаг, полоска, что окончательно примирило с ним большинство зрителей, за исключением разве что самых молодых.

— А вы?

— Я ничего не обязан вам показывать, — огрызнулся Д. (просто так, чтобы еще больше навредить себе).

— Для вашей же пользы...

— Я ни у кого не прошу совета!

— Тогда вам придется пройти с нами. Нет, мсье, вы свободны, — сказал он толстяку. — Запиши имя и адрес этого господина, — обратился полицейский, понизив голос, к своему товарищу, — и срочно позвони в участок. Проходите-проходите! Нечего глазеть!

Люди не без сожаления начали расходиться, многие выражали толстяку свою симпатию, потом ушел и он, все еще тяжело отдуваясь. «У них будет что порассказать за ужином», — подумал Д. с неприязнью. Полицейский выпустил его руку и смотрел на него без всякого выражения.

— Зря вы так, показали бы документы, и все бы уладилось.

— Отстаньте! — буркнул Д. и отвернулся.

— Ну как хотите.

Они ждали молча. Проходившие мимо люди оборачивались с опаской и с любопытством. «Люди...» Д. чувствовал

себя как потерявшийся пес, который забился в подворотню и скалится на каждого, кто осмеливается подойти поближе.

— Машина пришла!

— Быстро сработали... Ну пошли!

Д. шел опустив глаза, пока они не поднялись на улицу. Тут он внезапно пожалел о том, что затеял эту глупую историю. Вот и темно-синяя машина, а в ней четверо полицейских да еще сержант на переднем сиденье. Восемь человек из-за него одного! Он не мог сдерживать смеха.

— Да он чокнутый, этот парень! — буркнул один из полицейских. — Ну, влезайте!

— Не смейте ко мне прикасаться! — повторил Д. и оглядел кольцо зевак, собравшихся вокруг машины. Задние поднимались на цыпочки, чтобы лучше видеть. «Кретины!»

В участке стоял еще более тяжелый дух пота, чем в министерстве.

— Ну, комиссара мы из-за таких пустяков беспокоить не станем, — решил сержант. — Мишель, поди узнай, свободен ли инспектор Виньяль.

Мишель постучал к инспектору, зашел в кабинет, коротко доложил ситуацию.

— Мне надо позвонить, — сказал инспектор. — Пускай подождет. Он не скандалит?

— Да как сказать.

— Заприте-ка его в клетку. На таких это здорово действует. Я вас скоро вызову.

При виде решетки Д. побледнел.

— Вы собираетесь меня туда запереть? Вы что, не в своем уме?

— Да, старина, все не в своем уме, — добродушно откликнулся Мишель. — Кроме тебя, конечно!

Инспектор положил трубку, потом набрал другой номер и начал новый разговор, уже не служебный. Он взглянул на часы («Семь минут, хватит с него») и, приоткрыв дверь, крикнул:

— Давайте сюда вашего субъекта!

Раздались шаги, кто-то выругался. Потом послышалось какое-то топтание на месте. Инспектор поспешно вышел из кабинета, прошел грязным коридором, повернул за угол и увидел через решетку свесившуюся набок голову скандалиста — лицо его приняло синеватый оттенок, в тон синим мундирам стоящих вокруг полицейских.

— Он повесился. Раз, два — и готов.

— Что? На своем галстук? И никому не пришло в голову отобрать у него галстук?

## Электронный мозг

В день своего рождения, прямо с утра, в соответствии с предписаниями закона Жан-Марк Д. явился в парижский центр Гран-Пале \*. В сущности, закон предоставлял ему недельный срок, но юноше не терпелось узнать свой «план жизни». Ему наконец-то исполнилось шестнадцать лет, он стал совершеннолетним, самостоятельным и не желал ждать ни дня. Когда родители предложили поехать с ним, Жан-Марк отказался. Не то чтобы они его стесняли (вот уже четыре года, если не больше, ни они, ни учителя ни в чем ему не перечили и не навязывали ему своих мнений) — нет, просто родители отстали от жизни. Они так и не свыклились с тестами, не верили в статистику и не умели вести диалог с компьютером. Ну что им делать в Гран-Пале?

Это старое здание, давным-давно пустовавшее, по случаю своего столетнего юбилея было отдано Национальному Электронному Мозгу. Установка и монтаж блоков заняли

\* Здание Гран-Пале было построено для парижской Всемирной выставки 1900 г., сейчас в нем размещаются экспозиции научных достижений и произведений искусства.

целых семь лет, зато, по всеобщему мнению, получилось нечто уникальное. И хотя все давно разучились удивляться, масштабы были просто ошеломляющие: 2 800 абонентов могли одновременно из звукоизолированных кабин по теле-тайпу запрашивать электронный мозг, а по маленьким экранам бежали строчки ответов. Кабины располагались вокруг огромных сот «национального банка памяти», верхушка которого достигала стеклянной крыши, хотя основная часть в целях безопасности была упрятана под землю на добрых полсотни метров.

Но не само по себе электронное чудо возбуждало любопытство Жана-Марка Д. Его судьба (одна из судеб пятидесяти миллионов французов, но столь же ясно предначертанная, как и любая другая!) была скрыта до поры до времени в этом старомодном невысоком здании, украшенном аллегорическими фигурами. Это казалось ему непостижимым, внушало одновременно и смутную тревогу, и чувство уверенности. Иногда он исподтишка поглядывал на отца, пытаясь себя убедить, что и тому было когда-то шестнадцать, и не мог понять, как у отца хватило самоуверенности жить в то время, когда человек не только находился под постоянной угрозой войны, но и должен был сам, вслепую, выбирать профессию, жену, квартиру. «Хорошо, что они не понимали своего положения», — думал он, чтобы не восхищаться. Куратор-«пси» (психолог-психиатр-психоаналитик, прикрепленный к жителям их квартала) предостерегал его от этой опасности, говоря, что восхищение — это «деморализующая наклонность, как и атавистическое чувство вины».

«Да, — продолжал думать Жан-Марк, — разве они могли спокойно жить и делать правильный выбор, не имея точных данных? Как могло устоять общество, вынужденное исправлять бесконечные ошибки людей? Средневековье, да и только!» (Вечно чествуют средние века: эта эпоха растягивается с приходом каждого нового поколения, которое относит к ней все, что ему предшествовало.) Родители Жана-Марка,

да и большинство французов (что весьма прискорбно) чувствовали себя чужаками в своей стране: «Мы и не заметили, как она изменилась...» Это обычно говорят об умирающих. Миллионы французов привыкли считать, что сами во всем виноваты (так повелось с июня 1940 года), покорно трудились, не разгибая спины, и в конце концов приходили к мысли, что смерть на самом деле не очень страшна. Уж она-то, во всяком случае, не изменилась, что бы там ни говорил куратор-«пси».

Жан-Марк Д. устроился в кабине, обтянутой искусственным бархатом нежного тона. Эта синтетическая ткань и пластмасса, имитирующая дерево, металл и стекло, — все здесь выглядело новеньким, с иголки, все было цело: ведь времена, когда все крушили, давным-давно прошли. Чересчур любезный, как на аэровокзале, голос из динамика разъяснил Жану-Марку, что он должен делать.

— Прежде всего выберите звуковой фон. — Конечно, разве можно думать без музыки?

В этом плане Жан-Марк не придерживался современных вкусов. Он нажал клавишу с надписью «Моцарт».

— Напечатайте на телетайпе свою фамилию и имя и ждите ответа. Это недолго... Спасибо!

В самом деле, ждать пришлось недолго. Экран вспыхнул, побежал текст:

— Здравствуйте. Вы родились 23 февраля 1993 года в Руане-III, код 76007-Б6-№ 122. Правильно?

Жан-Марк нажал клавишу «Правильно». Он привык к подобным диалогам: так проходили почти все уроки и экзамены. На экране появились имена его родителей («Правильно?»), потом — бабушек и дедушек, которых он не застал в живых (раньше люди умирали, не достигнув и восьмидесяти лет). Машина знала о его предках больше, чем он сам; не задумываясь, Жан-Марк ответил: «Правильно».

— Теперь поговорим о вас... Жан-Марк, — с едва улови-

мой заминкой сказала машина.

Юноша невольно представил себе, что эти фразы, появляющиеся на экране со скоростью речи, произносит человек с добрым лицом и ласковым голосом. Но разве у электронной памяти может быть человеческий облик?

— Прежде всего — о вашем здоровье, — продолжал электронный мозг. — Делать записи нет необходимости: по окончании нашей беседы вы получите ее печатный текст в двух экземплярах. Итак, вы болели...

И машина перечислила болезни, которые Жан-Марк перенес, начиная с младенчества. Он их почти все пере-забыл, но подтверждения у него уже не спрашивали.

— По результатам медицинских обследований можно заключить, что сердце у вас довольно слабое. Волноваться не стоит, — тут же прибавила машина, — на сегодняшний день это 19 704 482-й случай. До сорока лет вы должны проходить контроль С-42 раз в пять лет, потом — раз в два года. Вас будут вызывать, лечение запрограммировано. По истечении первой половины жизненного срока вы явитесь на подведение итогов, мы поговорим о вашей смерти — когда и по какой причине она вероятнее всего наступит. Но сейчас нельзя сказать ничего определенного; к тому же с психологической точки зрения сообщать вам подобную информацию еще преждевременно. Просим нас извинить...

Жан-Марк едва не ответил: «Охотно», но вряд ли машина обладала чувством юмора. Впрочем, она продолжала свой монолог:

— Перейдем к выбору профессии...

Она бесстрастно проанализировала довольно скромные успехи Жана-Марка в учебе — он к тому же бросил школу недоучившись, — и предложила ему, снова извинившись, всего три варианта. Он должен сделать выбор, прежде чем отзвучит анданте из сонаты Моцарта.

Руки у Жана-Марка дрожали, пока он печатал на теле-тайпе: «Адвокат» — ведь это выбор на всю жизнь.

— Хорошо, — сказала машина (правда, она в любом слу-

чае ответила бы так). — Сейчас я составлю программу вашей профессиональной деятельности.

У него закружилась голова, когда он подумал о молниеносных вычислениях, которые она производила в эту самую минуту, чтобы определить с точностью до последней ступеньки иерархию нынешних судебных чинов, выяснить направления развития будущих конфликтов в зависимости от перемен в психологическом облике поколений, предугадать новые законопроекты, рассчитать... Но машина рассуждала быстрее, чем он: не спрашивая его согласия, она назвала ведомство, где он будет работать адвокатом (по крайней мере, до 2020 года), более того, даже коллегия, в которую его примут, а также его специализацию (трудовые конфликты) в течение трех лет, после чего...

Но он уже не слушал. «Трудовые конфликты, — с удивлением думал он, — именно этот раздел права меня мог бы заинтересовать...» Подождав конца фразы, он поспешно набрал: «Спасибо». Машина онемела — на секунду изображение пропало, и Жан-Марк испугался. «А вдруг она больше ничего не скажет? Что же со мной будет?» Ему представилось на миг, что он останется без жены, без квартиры, без увлечений. Юноша не отрывал глаз от мертвенно-бледного экрана: квадрат его — будто лицо потерявшего сознание человека. Оживет ли оно?

— Благодарить необязательно, — сообщила наконец машина. — Значение может иметь только ваш отказ. Перейдем к вашей будущей семье. Судя по всем тестам, фигурирующим в вашем досье, ни малейшей склонности к гомосексуализму у вас нет. В этом плане вы можете быть совершенно спокойны. И если мы советуем вам подождать два года с женитьбой, то лишь потому, что ваш коэффициент эмоциональной зрелости составляет пока всего 107 единиц. Ваша половая жизнь должна быть умереннее. Отмечено избыточное употребление стимуляторов в течение года и трех месяцев. Воздержитесь от их приема, иначе вам угрожает импотенция. Теперь о вашей жене. Чтобы ваш

брак был удачным, берите в жены ровесницу, худощавую блондинку...

Жан-Марк заулыбался — это описание подходило и к Мари-Луизе, и к Стефани, и к Жоэль. А ведь раньше он не замечал, до чего они похожи. Однако он постарался снова принять серьезный вид: ему почудилось, что машина наблюдает за ним и не одобряет подобного легкомыслия. Но она невозмутимо перешла к описанию характера его будущей жены. Закончила машина так:

— Не волнуйтесь, эта девушка существует. Когда придет время, мы найдем ее методом последовательных исключений. А сейчас укажем только, что в Париже вместе с пригородами проживает... одну минуту!.. 7 203 девушки с аналогичной «фи-пси» характеристикой (то есть физической и психологической), а в ведомстве, где вы будете служить, их 403. Выбор целиком и полностью зависит от вас. Повторю, выбор целиком и полностью зависит от вас.

«Неправда», — вдруг подумал Жан-Марк. Он вспомнил цыганку, которую встретил у реки в июне, в последний месяц каникул. Он тогда не мог оторвать от нее глаз. Она была не похожа на всех остальных девушек. Она рассказывала ему свою жизнь, и самые обычные слова в ее устах звучали откровением. А когда Жан-Марк с наивной гордостью описал ей свои повседневные занятия, она рассмеялась. Он часто думал о ней вечерами и про себя звал ее Свободой. «Неправда, — подумал Жан-Марк, — выбор от меня не зависит». Однако нажать клавишу «Возражаю» он не посмел.

— Вы согласны? — спросила машина.

Таков был порядок: вопрос этот она задавала в конце каждой темы, пока электронная память готовила информацию для следующей. Но Жану-Марку показалось, что машина заметила его колебания. Прежде чем коснуться клавиши «Согласен», он мгновение помедлил. И даже эта легкая заминка послужила причиной вопроса:

— Полностью согласны?

На лбу у него выступила испарина. Сражаться с машиной ему не по плечу. Он поспешно нажал клавишу.

— Теперь мы можем предложить вам квартиру. Извините за задержку. Первоначальная информация оказалась неудовлетворительной — предложенные квартиры находились слишком далеко от места вашей будущей работы. Между тем автомобиль вы сможете приобрести лишь после шестой полугодовой прибавки к жалованью; скоростной транспорт в вашем районе будет пущен только в сентябре 2012 года, а велосипед вам противопоказан вследствие болезни сердца. Вот ваш новый адрес...

Машина написала его заглавными буквами и уточнила, что посмотреть квартиру Жан-Марк может в понедельник, а переехать — 15-го числа... но он уже не смотрел на экран. Он снова вспомнил юную цыганку — Свободу, реку и на берегу — увитый глициниями домик с красной черепичной крышей. Тогда, летом, он подумал: «Вот бы поселиться здесь! Я мог бы найти работу где-нибудь по соседству. Любую работу, где я буду занят четыре дня в неделю, по шесть часов в день! В конце концов самое главное — это остальные дни и часы, твой дом и те, кто с тобой живет...» Неужели ему самому пришла в голову столь невероятная мысль? А может, ее шепнула Жану-Марку Свобода нежным и волнующим голосом?

Юноша улыбался воспоминаниям, а по мертвенно-серому экрану по-прежнему бежали цепочкой буквы-муравьи. Теперь машина программировала его досуг. Заниматься живописью ему не рекомендуется, зато его примут в фото-клуб при Центре организации досуга в том районе, где он будет жить. Лаборатория к его услугам по вторникам, с 18 до 20 часов. «Повторяю: по вторникам, с 18 до 20 часов». К сожалению, играть в регби ему запрещено. А вот в футбол — можно, во всяком случае, до весеннего медицинского обследования. Есть место правого защитника в команде F второй зоны в Клубе физической культуры данного города. Что касается ручного труда...

И вдруг машина споткнулась: Жан-Марк перебил ее. Не обращая внимания на теснившиеся на экране строчки, он печатал на телетайпе свои собственные мнения и решения. Снова раздался ангельский голос (если абонент нарушал порядок операций, автоматически включался магнитофон):

— Внимание! Вы не должны печатать свои вопросы или ответы, пока на экране идет выдача информации. Необходимо дождаться конца фразы. Прежде чем ответить, нажимайте клавишу «Ответ». Повторяю: необходимо дождаться...

Он не желал ничего дожидаться, не желал ничего знать. Он даже не замечал, как беснуются на экране буквы-муравьи: «Мы не можем принять ваш ответ. Мы не можем принять ваш ответ. Мы не можем...» Жан-Марк упорствовал. Сейчас он разворошит весь этот муравейник! «Нет, вы примете мой ответ!...»

— Меня зовут Жан-Марк, — напечатал он. — Жан-Марк — это мое собственное имя.

А чудо техники, молниеносно обшарив свою чудовищную память, попыталось ошеломить его цифрами:

— Это имя во Франции носят в данный момент 953 504 человека. Повторяю: 953 504...

— Это мое собственное имя, и я свободный человек. Я куплю себе велосипед и буду на нем ездить каждый день. Я буду играть в регби по воскресеньям, в полузащите. Я стану краснодеревщиком — это прекрасное ремесло, оно располагает к одиночеству и сосредоточенности. Да, стану краснодеревщиком и поселюсь в доме у реки с женщиной, на которой я женюсь в этом году. Она брюнетка, и мой коэффициент эмоциональной зрелости ее вполне устраивает. Брюнетка, чуть старше меня и вовсе не худощавая. Ее зовут Свобода. Понятно вам? Свобода!

— Это имя во Франции носят... (машина запнулась)... ноль человек. Повторяю: 0, 0, 0, 0...

Обезумев, она нанизывала в строчку нули — две, три, десять строк одних нулей.

— Ее зовут Свобода, а меня — Жан-Марк, — продолжал

ю н о ш а , — и мы оба — единственные и неповторимые. Понятно? МЫ ОБА — ЕДИНСТВЕННЫЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ.  
МЫ ОБА...

— Вы можете печатать заглавными буквами, но ни в коем случае не следует их подчеркивать, — снова зазвучал полубормочный голос из динамика. — Пожалуйста, напечатайте сообщение еще раз, руководствуясь настоящими указаниями. Благодарю за внимание.

— ...ЕДИНСТВЕННЫЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ. — закончил, наконец, Жан-Марк.

Он поискал на пульте клавишу с восклицательным знаком, но не нашел: здесь можно было только задавать вопросы.

Жан-Марк встал. В кабине по-прежнему звучала музыка великого Моцарта. Прежде чем выйти из ячейки, отделанной искусственным металлом, искусственным стеклом, искусственным деревом и искусственным бархатом, он бросил последний взгляд на экран. Прилежные муравьи вновь принялись за работу — появился текст:

— Мы вас не понимаем. Пожалуйста, выразите свою мысль точнее. Спасибо.

«Ну что ж, с удовольствием», — подумал Жан-Марк.

Он не стал снова садиться в кресло; не забыв нажав клавишу «Ответ» и ничего не подчеркивая, он старательно напечатал заглавными буквами:

— КАТИСЬ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ.

## Мушка и медведь

Мушка полетала минутку — то есть это для нас, людей, была «минутка» — и села на какое-то поле или на бледно-сизый луг, не такой белый, как снег, но почти такой же холодный. Сидела она недолго. Как кормится мушка? В беспокойстве перелетает она с места на место, по крохам собирая себе пищу; словом, мушку кормят крылья.

Некоторое время она летела в одном направлении, потом заметила чье-то большое бледное лицо и села на него: на лице всегда найдется что-нибудь поесть... Нет, на этом вряд ли! Хоть оно и шевелится, но, должно быть, неживое: холодное и без запаха. «Надо улетать!» — решила мушка. Она стала кружить в воздухе, вытаращив глаза, но ничего не увидела, потому что было темно.

Наконец она различила силуэт большого зверя, он перемещался в черно-белом пространстве, не совершая при этом никаких движений, как самолет в небе. Большой зверь всегда служит пристанищем для маленьких; иногда он даже не подозревает об их существовании, но он и рад им. Их едва ощутимое присутствие напоминает ему, что он не одинок. В природе много таких союзов, как, впрочем, и у людей.

Мушка надеялась, что у зверя густая шерсть, где можно будет спрятаться и отдохнуть, а потом поискать еды, однако он оказался таким же неприятным, как и неживое лицо. На лягушку совсем не похож, удивилась мушка. Почему же тогда он такой холодный и гладкий? Ох, какой неудачный день!.. В сущности, «день» не мушкино слово: слишком короток ее век. То, что для нас день, для нее целая зима или лето, наша зима или лето для нее год, а наш год — это вся ее жизнь.

Она опять скрылась в темноте, но там она не нашла ничего интересного, и к тому же хотелось есть. Поэтому она вернулась обратно, и сизо-белый квадрат, который внезапно ожил, снова привлек ее внимание. Мушка кружила на почтительном расстоянии от него, словно разведывательный самолет, пока не поняла, что происходит.

Она уже многое видела в жизни и догадалась, что идет война. По полю двигались танки, а когда в них попадал снаряд, они замирали на месте или взрывались. На земле появились глубокие воронки, снопы пламени валили с ног сражавшихся, и они корчились перед смертью, как придавленные пауки. Множество самолетов бороздили небо,

безжалостно сбрасывая вниз то ли помет, то ли я й ц а , — поди разбери! — и едва все это касалось земли...

Страшное зрелище заворожило мушку, она не могла оторвать от него глаз. Она видела, как слева от нее готовили прорыв, а справа будущие жертвы еще ни о чем не подозревали. Она чуть не закричала: «Скорее, скорее! Прячьтесь! Они уже близко!» — подобно тому, как кричат дети в кукольном театре, предупреждая любимого героя об опасности. Но ее голос затерялся бы в грохоте этой странной плоской битвы. И потом, люди охотно наделяют животных своими чувствами, хотя никогда по-настоящему не пытались понять их язык. Они расшифровали письма народов, исчезнувших с лица земли много веков назад, однако до сих пор не понимают собственную собаку.

«Надо бы вмешаться!» — сказала себе мушка. Ибо самолюбивая мечта всякой мушки, ее гордость и страсть — помогать быкам пахать. Не долго думая, она стала летать по полю в надежде задержать залп артиллерийской батареи или предупредить об опасности неосторожный танк, едва слышным жужжанием заставить бойца вовремя окопаться или повернуть обратно самолет, такой же маленький, как и она сама, пикирующий на безоружного противника... Она принимала то одну, то другую сторону, помогая слабым и попавшим в беду: беззащитному пехотинцу против танка, танку, тяжелому, неуклюжему, как черепаха, против самолета.

Мушка изнемогала от усталости, но с каждой минутой все сильнее и сильнее чувствовала, что нужна людям. Она спасала не одну жизнь! Она стала верховным судьей, добрым гением несчастных безумцев. Еще немного, и, может быть, они сложат оружие, поняв вдруг, что бессильны продолжать битву. Исцелятся от безумия, очнутя от угара кровавого боя. И когда на этом черно-белом поле брани наконец воцарится мир, мушка сможет наконец позаботиться о еде, отдохнуть от трудов праведных... Это будет час ее славы...

И тут подал голос медведь. Большой медведь в домашних

туфлях, который, расстегнув жилет после сытного обеда, развалился в кресле, посасывая погасшую вонючую трубку. Он что-то проворчал, и его здоровенная лапа прихлопнула мушку на экране телевизора. Осталось маленькое, почти незаметное пятнышко, розовая капелька на буднично-сером фоне...

— Не хватало еще, чтобы эта козявка мешала нам спокойно смотреть новости, — сказал медведь.

## Пятый шаг

После того, как тебе кричали: «Беги!» — оставалось сделать пять шагов. Все в лагере знали это: пять шагов — и получи пулю в спину! И это было разумно: на большем расстоянии часовой мог промахнуться, а на меньшем это слишком походило бы на убийство. Да и для того, чтобы сказать потом, что заключенный пытался бежать через западные ворота, что ему кричали: «Стой!», но он не остановился, и пришлось стрелять, — для подобного объяснения пять шагов были как раз нужным расстоянием.

Некоторые сразу бросались бежать. Надеялись, что успеют уйти подальше и пуля их не достанет. Другие с той же целью кидались то вправо, то влево. Как бы не так! Когда в руках у тебя автомат и ты считаешь до пяти, пусть даже медленно, промахнуться невозможно... А дальше все разыгрывалось как по нотам:

— Сержант, я увидел, что он выходит из каземата, не знаю уж, как ему это удалось. — Кто-кто, а сержант это хорошо знал! — Я крикнул: «Стой! Стрелять буду!» Он не остановился, ну я и выстрелил.

— Я доложу лейтенанту.

— А что делать с телом, сержант?

— Им займутся.

«Занимались» трупом всегда одни и те же четыре человека; утром, на рассвете, они рыли яму на лагерном кладбище. За это им давали увольнительную, по субботам они шли в деревенский кабаk, молча напивались там и возвращались после полуночи, шатаясь, на обратном пути их всегда рвало. Проходя мимо часовых, они даже не старались идти тверже; им все дозволялось. Четверо, всегда одни и те же. После войны они до конца своей жизни будут обмениваться новогодними поздравлениями. «Кому ты пишешь?» — «Трем фронтовым друзьям. Нас прозвали Неразлучными...»

Всегда те же четверо; но зато при каждой новой «операции» лейтенант менял часового на посту у западных ворот. Таким образом он хотел испытать всех людей своего маленького гарнизона. Крепость — даже не крепость, а просто небольшое укрепление — стояла на отшибе; совсем близко, за густым лесом, проходила граница; местные жители были настроены скорее нейтрально, чем дружелюбно, а некоторые так даже скорее враждебно, чем нейтрально. Они прекрасно знали, что происходит за черными каменными стенами: после трех-четырех стаканов в кабаке у солдат развязывался язык. И каждый раз, когда жители деревни слышали автоматную очередь из крепости, они опускали глаза, не решаясь взглянуть друг на друга. До войны они знали только одного еврея — старого портного Финхальтера, который трогательно играл на скрипке. И почему их так преследуют по всей стране? Женщин и детей убивают, мужчин отправляют в лагерь — сюда, например. Конечно, и дорога, и мост им нужны, местные жители требовали их уже лет пятьдесят, но, черт возьми, не такой же ценой! Мужчины из деревни (те, кто не был мобилизован и не пропал без вести в снегах) предложили свою помощь. «Работать с евреями? Вы что, с ума сошли?» И с тех пор лейтенант им не доверял, как не доверял заключенным, да и тем солдатам гарнизона, которые еще не стреляли с пяти шагов в убегающего узника. Зато потом с ними не было никаких хлопот. Они скрывали, что у них творилось на душе. Один да-

же спросил, бывает ли здесь священник... Священник! Что ж, среди заключенных попались как-то два или три монаха, но их пригнали не затем, чтобы служить господу богу. А поскольку они все же упрямо пытались делать свое дело тайно, то пришлось и им устроить «побег»...

В гарнизоне служили никудышные солдаты: многолетние отцы семейства и хлипкие юноши, непригодные для Восточного фронта. Лейтенант их презирал и особенно на них не надеялся. Только испытание «пятью шагами» превращало их в роботов, вот такими командовать одно удовольствие. Некоторые снова просились в караул — что ж, в добрый час! Если у них охотничий азарт... Скоро уже все солдаты перебивают на посту у западных ворот, которые ведут в лес, к самой границе; скоро он всех, как сказал сержант, приберет к рукам.

«Пять шагов...» — человек остановился на пороге каземата. Вернуться назад значило получить пулю в затылок на одном из поворотов коридора или у себя в камере среди ночи: сержант уж точно не промахнется. Впрочем, часовой тоже. Во всяком случае, такого еще ни разу не было, хотя все «беглецы» на это надеялись. Но умереть под открытым небом, вздохнув свободно, пробежав хоть несколько шагов к лесу, все-таки лучше.

Почему же на этот раз выбор пал на него? Он догадывался: все рано или поздно становилось известным среди этих черных камней, несмотря на удары хлыста, которыми принуждали к молчанию. Он должен был исчезнуть, хотя работал не хуже других и ни разу не обратился в лазарет, только потому, что где-то там, в далеком краю, убили его мать, жену и маленькую дочку. В таких случаях — он это знал, все это знали — предпочитали ликвидировать всю семью. Дорога и мост скоро будут готовы; только что прибыли новые рабочие: цыгане и участники Сопrotивления. Так что одним больше, одним меньше... Значит, теперь при помощи мнимого побега собирались уничтожить последне-

го члена его семьи. Отца уже давно застрелили в гетто.

Пять шагов... Он услышал, как часовой щелкнул затвором автомата.

«Ну что ж, — сказал он себе, — рано или поздно для всех наступает момент, когда находишься в пяти шагах от смерти. Просто люди обычно этого не знают, и эти пять шагов пропадают зря. Но ведь я-то знаю. Они мои. У меня в жизни не было ничего более надежного, чем эти пять шагов. Пока я их не сделаю! Я самый свободный человек в лагере, единственный по-настоящему свободный!»

Гордость придавала ему силы. Умереть стоя... Это была единственная милость, которую лейтенант даровал приговоренному к смерти. Теперь, когда он был уверен, что его любимых нет в живых, он чувствовал себя необычайно легко. Нет больше ни слез, ни надежд, ни планов. Он словно парил между небом и землей и был совершенно неуязвим. Его убьют в пяти шагах отсюда — ну и что? Его уже трижды убили, в трех разных лицах, не считая отца. В самом деле, для чего оставаться в живых? Не постыдно ли это? Постыдно и абсурдно: когда чувствуешь себя изгоем, где бы ты ни был, изгоем в собственной шкуре, то зачем жить?

Вот так, пока он медленно делал свой первый шаг свободного человека, полная безнадежность сопровождала и утешала его. Однако, готовясь совершить следующий шаг, он до боли отчетливо увидел свою маленькую дочку с закрытыми глазами. Умерла? Нет, уснула. Он увидел ее, беззащитную, уже во власти сна, с приоткрытым ртом, как в прежние счастливые времена, когда она лепетала ему: «Спокойной ночи». И, как тогда, он, улыбаясь, прошептал ее имя.

— Чего застрял? Пошевеливайся! — неуверенно прикрикнул часовой.

Но он не собирался торопиться: ведь часовой все равно не выстрелит раньше пятого шага. Вот его маленькая дочка, а рядом с кроваткой жена, она тоже улыбается. Сильная, неприступная, она неуязвима, как настоящая цитадель. Не такая, как эта жалкая крепость, темное, мертвое нагро-

мождение сырых камней... Нет! Его жена живая, неизменная...

Часовой увидел, как человек выпрямился. «Он выше меня», — подумал он и сжал в руках автомат. Со спины этого парня можно было принять за кого угодно. Он немного наклонял голову влево, совсем как Этьен, его старший брат, от которого уже много месяцев не было вестей. А вдруг его убили на этом проклятом Восточном фронте? «Почему он там, а я здесь? — подумал часовой. — Что за подлость, что за идиотизм эта война!» Он злился на себя за то, что спокойно живет в этом вонючем лагере, вдали от опасности. Вставать по сигналу, работать, жрать, стоять на часах, снова жрать, ложиться по сигналу... Что за идиотизм эта война! Впрочем, здесь-то как раз войны нет... Он живет здесь то ли как новобранец, то ли как привратник, слушает шарканье грубых башмаков по камням и ругань в казарме, а в это время Этьен, его старший брат, его единственный друг... Он злился на себя, злился на лейтенанта, на весь мир, на этого парня, который, казалось, никогда не поставит занесенную ногу... Впрочем, нет, на него он не злился.

Третий шаг. «Я прошел уже половину пути, — подумал беглец, — и это заняло у меня меньше минуты. Но что такое время? Умиравший старик и тот сетует на несправедливость судьбы». Он вздохнул полной грудью и почувствовал мирный, знакомый запах сосен, которые были, казалось, совсем близко. «Что такое пространство?» На смену отчаянию пришла насмешка над всем мирозданием, над человечеством, этим огромным стадом, над жизнью. «Что за идиотизм эта жизнь!» И он почти заторопился поставить ногу: это был четвертый шаг.

«Четыре», — сказал часовой вполголоса, чтобы подбодрить себя. Или, точнее, чтобы подстегнуть себя — он словно заводил часовой механизм, который должен сам работать.

«Четыре! Да пошевеливайся же, черт тебя побери!» Но ему и в голову не пришло выстрелить. Существовал ритуал,

объединявший их всех, лейтенанта, сержанта, беглеца и часового: стреляли по счету «пять», ни раньше, ни позже, так уж повелось. «А почему, собственно?» — промелькнуло в его сознании. И еще он подумал, что главные вопросы всегда остаются без ответа, и именно поэтому люди их себе не задают. «Но чего же он ждет, мерзавец?»

А «мерзавец» поднял голову и увидел в небе одинокое облако, величественно плывущую снежную гору, которую ничто, казалось, не могло заставить двигаться быстрее или изменить форму. Медленно плыло оно по небу, огромное облако, безразличное к этим крохотным, еле видимым созданиям, которые убивали друг друга на далекой восточной границе или стояли навтыжку здесь, среди черных каменных стен, только потому, что кому-то вздумалось пришить звезду им на рукав. Приговоренный взглянул на облако как равный. Да! Только так и надо смотреть на все: равнодушно, спокойно, свысока.

Он занес ногу для пятого шага и вдруг резко обернулся. Часовой в первый раз увидел его лицо. Узник улыбался. Без высокомерия и вызова, не враждебно, но и не дружелюбно. Улыбка не предназначалась часовому, да и вообще никому, она была вне крепости, вне войны, вне всех людских ритуалов.

— Да повернись же, черт! — прохрипел часовой. Он не мог смотреть ему в лицо, не мог вынести эту улыбку, в которой не было ни страха, ни ненависти. — Приказываю повернуться! — глупо повторил он.

Но человек его не слышал: он шел обратно шаг за шагом, так же медленно — и солдат испугался. Он изо всех сил сжал свое оружие, но чем крепче сжимал, тем больше оно казалось ему мертвым куском железа, дурацким, ненужным предметом, таким же ненужным, как эта крепость, армия, война, черт бы их всех побрал!

— Поворачивай! — крикнул он еще раз — и ему показалось, будто это кричал кто-то другой на незнакомом языке.

Два шага. Три. И словно бы только тут человек заметил

присутствие часового. В своей грубой и нелепой одежде, в стальной каске, которая почти скрывала его взгляд, он был так смешон, что человек расхохотался от души и без всякой злобы. Белые облака в небе, наверно, тоже смеются по-своему.

Теперь он был в шаге от часового. Тот, вытаращив глаза, широко открыв рот, попятился — шаг, другой, — потом выронил свое оружие. Не торопясь, человек нагнулся и подобрал автомат.

— Нет, нет! — закричал часовой. — Не надо...

— Идиот.

Человек сказал это мягко, не переставая улыбаться, совсем как Этьен. Он посмотрел на глухую стену крепости, потом на сосновый лес. Он снова нашел свое место в пространстве и во времени. Теперь дорога была каждая секунда.

— Пошли, — скомандовал он вполголоса. — Придется бежать вместе, иначе тебе тоже крышка.

— Но они же нас...

Человек указал ему на такой близкий лес и поудобнее ухватил автомат. Он по-прежнему улыбался.

— Быстрее! — только и сказал он.

## В деревушке Ля Фюри

В деревушке Ля Фюри, неподалеку от Нанта, всегда был такой человек — за двести лет их сменилось немало, — который в мельчайших подробностях мог рассказать о том, что происходило в этих местах во времена Революции 1789 года и наполеоновских войн. Он не был ни историком, ни ясновидцем; просто один из его предков оказался в гуще событий тех лет и оставил старшему сыну живой, достоверный рассказ о них, а тот, когда пришло время, передал его своему первенцу. Так возникла семейная традиция: когда

старшему сыну исполнялось тринадцать лет, совершался обряд посвящения; посадив его прямо перед собой, отец медленно разучивал с ним семейную хронику.

— Я стоял у возвышения, — прилежно повторял ребенок, — в нескольких метрах...

— Нет! В нескольких *туазах*.

— В нескольких туазах от оратора, и вот, не в силах более сдерживаться, я сказал...

— Я обратился...

— Я обратился к нему: «Гражданин, на что же уповает Конвент в наших краях? Ведь мы... Мы совсем не такие, как все остальные французы...»

Неделями мальчик твердил урок, морщась от натуги, боясь перепутать хоть слово, под строгим взглядом отца, который, беззвучно шевеля губами, повторял весь рассказ, чуть опережая сына. Когда же он выучивал все наизусть, усвоив все жесты и интонации, дошедшие от предка, отец смотрел на него уже другими глазами. Отныне он относился к нему как к мужчине и даже с той доверительностью, которая существует между заговорщиками или людьми, посвященными в общую тайну, и хотя по-прежнему мог воспроизвести семейную хронику, но считал, что его миссия окончена. Долг исполнен! Он с облегчением переводил дух, как бегун, передавший эстафетную палочку товарищу.

Ля Фюри была таким захудалым местом, что в шестидесятые годы старшего сына пришлось отправить учиться далеко от дома в интернат. Он приезжал в родной дом только на каникулы, и в каждый приезд его ждали с нетерпением и так старались обласкать, что, пожалуй, слишком снисходительно относились к новомодным суждениям и изобретениям, которые он привозил из города.

Когда сыну исполнилось четырнадцать лет, отец решил, что пришла пора и ему исполнить свой долг.

— Ты узнаешь от меня Рассказ, — сказал он сыну, — и так же, как твой отец, дед и прадед, выучишь его наизусть, чтобы...

— Что, эту длинную байку про Революцию и Империю?  
— Именно, — оторопев, ответил отец, — ту длинную «байку», которую от отца к сыну...

— А вы-то, отец, знаете ее наизусть?

— А как же.

— Тогда вот что...

Тут он сбегал в свою комнату и принес...

— Что это такое?

— Вы что, магнитофона никогда не видели?

— Я слышал о нем, но при чем тут...

— Ну как же! Вот смотрите!

Он включил магнитофон в сеть и нажал на клавишу — зажегся красный глазок.

— Ну, давайте!

— Что?

— Начинайте вашу историю, говорите прямо в магнитофон.

— Но...

— Скорее, пленка зря крутится.

Сам того не желая, отец начал рассказывать семейную эпопею.

— Пока хватит.

Сын быстро повернул одну ручку, потом другую; зажегся другой красный огонек.

— Слушайте!

Все в точности: его интонации, взволнованный голос, темп... Отец, как зачарованный, не мог оторвать взгляда от неторопливо скользящей ленты, вот только свой голос он почти не узнавал.

— А теперь...

Мальчик нажал на крайнюю клавишу, зажегся зеленый огонек; бобины, словно очнувшись, вдруг быстро завертелись в обратную сторону.

— Готово! Все стерлось!

Тут очнулся и отец.

— Ладно, все это очень здорово, но при чем тут наша

семейная традиция? Что бы там ни было, но раз пришел твой черед, ты слово в слово выучишь Рассказ и...

— Ну уж нет! — спокойно ответил сын. — Вы же знаете, у меня плохая память и я хуже всех в классе читаю наизусть.

— Но ты должен не читать наизусть, а...

— Скажите, отец, ради чего все это: чтоб этот увлекательный рассказ сохранился от слова до слова в памяти людей? Чтоб он стал живым архивом? Чудесно. Если бы это были картинки, можно было бы сделать микрофильм, но раз это рассказ, его надо записать на пленку, и он уже никуда не денется.

— Но ты же прекрасно понимаешь, что все это не имеет ничего общего с устной традицией, которая живет вот уже два столетия!

— Ну а если я через год разобьюсь на мотоцикле, что тогда? Устная традиция прервется! А если мы запишем рассказ на магнитофон... Да мне и не рассказать лучше вас.

— Послушай, сын... — Похоже, ему не удастся переубедить мальчика; при этой мысли его голос неожиданно дрогнул, и сын с удивлением посмотрел на него. — Послушай, сын, даже если ты будешь рассказывать с ошибками или забудешь половину, все равно это лучше, чем запись. Понимаешь?

— Нет, не понимаю.

Отец взглянул на сына: открытое лицо, прямой взгляд, пальцы нетерпеливо барабанят по черной коробке.

«Наше время прошло, — подумал он. — Это другая порода». И вдруг Рассказ и традиция показались ему непонятными и ненужными.

— Послушайте, отец. Давайте я включу магнитофон, и вы раз и навсегда запишете этот рассказ. И никто никогда не воспроизведет его лучше и не сохранит надежней. Хотите, я уйду? — деликатно прибавил он.

Последние слова всего больней ранили отца. Он побледнел и молча кивнул. «Надо хоть так спасти Рассказ», — по-

думал он. Мальчик включил магнитофон и на цыпочках вышел из комнаты.

В этот раз отец превзошел самого себя, по временам у него выступали на глазах слезы. Кончив, он позвал сына и, не сказав ни слова, ушел.

За ужином он не притронулся к еде. Никто ни о чем его не спрашивал, да он никого и не видел вокруг себя. «Это самая настоящая трусость. У меня не хватает духу прервать традицию, хотя уже настало время... Архивы... Архивы — это же кладбища!»

При этой мысли лицо его застыло. Никто не смел взглянуть на него. Он встал, знаком пожелал всем спокойной ночи и ушел к себе. Решение он принял мгновенно.

Поздно ночью, когда все в доме уже спали, он тихо, как вор, пробрался в комнату, где на столе, словно спящий зверь, лежал магнитофон. Он хорошо запомнил, что надо делать: нажал на крайнюю клавишу, зажегся зеленый глазок — единственное пятнышко света в этой уснувшей комнате, — и бобины быстро и бесшумно завертелись.

Прерывисто дыша, он дождался, пока сотрется весь Рассказ, потом выключил магнитофон, который тут же превратился в безжизненную коробку.

Затем он прошел в коридор, надел длинный плащ, ярко-красный шарф, который носил его отец, и с непокрытой головой вышел из дому. Он радовался как ребенок, оттого что ветер трепал ему волосы, пока он поднимался к церкви и маленькому кладбищу; он шел, освещенный бледным светом луны, и его фигура отбрасывала причудливую прозрачную тень. Здесь они лежат рядом — его отец, дед и прадед, невидимые и как будто безразличные.

Не надо ничего им объяснять. Они все знают и понимают, каждый из них поступил бы так же. Ему не нужно оправдываться, и посреди этой лунной пустыни в последний раз, для них одних, он громко и без запинки повторит Рассказ.

## Не у дел

Застегивая жилет, он нахмурился. «Еще располнел...» Нет уж, он не угодит в эту западню, не станет толстеть! Ему ведь всегда было все равно, чем его кормят. «Вы едите как п е с , — говаривала Мария-Луиза, — не смотрите даже, что у вас в тарелке...» Часто, обедая с ней вдвоем, он вставал из-за стола, не доев: «У меня много работы». Он подавлял в себе желание есть, как и желание спать, — нельзя терять ни минуты! «Мир принадлежит тем, кто рано встает».

Теперь времени у него много, оно стало единственным его достоянием; времени много, а дел никаких не осталось. Каждый день похож на предыдущий. Или взять жалкие его мечты: позавтракать на природе и то представляется теперь целым предприятием. Он был бы не прочь иногда повозиться в саду, но говорят, что это ниже его достоинства. А часами просиживать в плетеном кресле, глядя, как расцветивается красками горизонт, — разве это совместимо с его «достоинством»? Или раскладывать пасьянсы? Или играть в шахматы с партнерами, которые нарочно проигрывают, дабы доставить ему удовольствие? Как будто он этого не замечал! Они, конечно, думают, что он все такой же вспыльчивый, непримиримый. А может, так и есть: чтобы обрести смирение, одного унижения куда как мало, наоборот! Может, бездеятельность только усугубила эти недостатки и в глазах окружающих он отвратителен? Ну что ж, пусть так и скажут! Но нет, из них никогда ничего не вытянешь. Они приноровились к этой жалкой жизни в изгнании, и расслабляющий климат здешних мест пришелся им по вкусу: не жизнь, а сладостная дремота. Гроза, гости, день рождения — подобных «событий» хватало им на целый день. А то и на два! Ведь и на следующий день можно было об этом еще поговорить. И они еще удивлялись, когда он вставал посреди этой болтовни и уходил, хлопнув дверью! «Знаю, знаю, они верные друзья, — говорил он с е б е . — И доказали это

на деле. Но верность — добродетель лишь для собаки!» Он был несправедлив к ним именно потому, что твердо знал: от него они бы приняли все. Его прежние соратники были иной породы. Он улыбнулся, вспоминая о них; он уже забыл, какие прежде устраивал сцены, как давал волю гневу, отчасти притворному, когда кто-нибудь ему перечил. Почти все они уже умерли! «Для такого человека, как я, потерять старых соратников хуже, чем для других», — говорил он себе. Но для такого человека, как он, все было хуже, чем для других, — так он теперь думал.

Он застегнул наконец свой жилет. Этот жилет теперь у него единственный или почти единственный. И он весело рассмеялся, подумав о всей той одежде, что ему довелось носить за свою жизнь. А теперь изо дня в день — один жилет, такой, как у всех. И эта выцветшая шляпа с широкими полями, что защищает его от солнца... В такой шляпе только на рыбалку ходить. Что ж, он сам выбрал такую. Поскольку все изменилось...

Ну вот, он готов. Готов к чему? К своей ежедневной прогулке: тучнеющее тело причиняет ему страдание, и его надо прогуливать, как собаку (потому-то он и не захотел завести собаку здесь, в своем уединении: они были бы слишком похожи...). Поначалу он менял места своих прогулок; но теперь, если не хотел, чтобы на него глазели, или старался избежать нежелательных встреч, то должен был ходить всегда по одним и тем же дорожкам. Впрочем, это не имело значения: он все равно не глядел вокруг. Нельзя в одно и то же время смотреть по сторонам и думать, смотреть и вспоминать — здесь не было ничего, что бы его так занимало, как собственные мысли и воспоминания. Правду сказать, мысли были бесполезными, а воспоминания оскорбительными, но куда от них денешься? В конце концов ему стало доставлять удовольствие вновь и вновь возвращаться мыслями к тому, что он называл — наедине с собой, никогда не произнося этого слова в слух, — «крушением». Удовольствие сродни тому, что получаешь, расчесы-

вая рану и зная наперед, что от этого боль только усилится.

Вот он и добрался до скал: ноги сами привели его сюда. Уселся в выемку, которая, казалось, была выдолблена как раз по нему. «Вот какой трон был мне уготован», — размышлял он в минуты хорошего настроения. Морской ветер без всякого почтения к его персоне теребил просторный плащ и шляпу, поля которой хлопали словно паруса. Ему захотелось вдохнуть полной грудью, но мешал жилет, и он расстегнул пуговицы. На мгновение он испытал счастье, время остановилось, прошлое исчезло, даже привычная боль — он машинально потирал печень — дала ему передышку. Там, внизу, море во всем своем великолепии билось о скалы, и этот вид напомнил ему места, где он родился и вырос. «Я остался таким же, каким был в детстве, — подумал он, — таким же недоверчивым, замкнутым. Я уже тогда не любил себя. Нет, люди не меняются. И что же в таком случае эта жизнь?» Мысли о детстве были, однако, приятны, пока он не вспомнил о другом ребенке — о сыне, и сердце у него сжалось. Сорвавшееся с губ имя сына унес ветер. Снова дала о себе знать боль в боку. «Море, — прошептал он, — такое могучее, всегда в движении — такое бесполезное!» Ему казалось, что жизнь его была подобна океану, который бурлил с таким неистовством и вздымал волны лишь затем, чтобы с новой силой обрушить их вниз и в бешенстве разбить все о те же неподвижные камни. «Пена красивая, но это всего лишь пена».

Солнце стало кроваво-красным и уже не резало глаза. Со дна пропасти, где волны в тщетной ярости одна за другой накатывались на скалы, повеяло свежестью, и тучный человек на утесе почувствовал озноб.

Словно пробудившись ото сна, он вынул из жилетного кармана часы, взглянул на них и подумал: интересно, что ему подадут сегодня на ужин, — и тут же рассердился на себя за столь пошлую мысль.

Он попытался снова застегнуть жилет, но тело так раздалось, что на этот раз он не смог этого сделать.

— Ну и пусть! — произнес вслух император Наполеон и, покинув скалы острова Святой Елены, тяжело зашагал по дороге к низенькому дому.

## Ночной Париж

Водителя экскурсионного автобуса звали Гвидо — он был итальянец. «Гвидо значит «гид»? — смеясь, спросила его Сильви в начале их знакомства. — Вы что же, у меня хлеб отбиваете?..» Студентка Сильви по вечерам подрабатывала гидом, вела экскурсию для японцев «Ночной Париж»: освещенные памятники, Монпарнас, Монмартр, площадь Пигаль и прочее в том же духе. Гвидо как две капли воды походил на прекрасного принца, которым Сильви бредила, когда ей было лет пятнадцать, и которому посвятила тогда многие страницы своего дневника. Он же ни о чем не догадывался, как не знал и того, что каждый раз, когда Сильви опускалась на мягкое сиденье рядом с ним, спиной к японцам и к целому миру, автобус превращался в двухместную карету, которая должна была рано или поздно умчать их прочь, подальше от этого лживого города, от безликой толпы, от бесстыдных огней. Рано или поздно, но пока — увы... Пока она, напротив, то и дело останавливалась, да еще и сама отлично вписывалась во всю эту аляповатую бутафорию, сиявшую так ослепительно, что японцы могли фотографировать без вспышки. Когда Сильви была маленькой, мать частенько говорила ей: «Не доверяй тем, кто ночью не такой, как днем». А ведь про Монпарнас, Монмартр, площадь Пигаль точнее не скажешь. И как раз там автобус останавливался, Сильви приходилось вставать, поворачиваться к японцам и декламировать им составленную на допотопном английском текстовку, в которой все

было свалено в одну кучу: мальчуганы Пульбо \*, бедные художники (чьи картины сегодня стоят миллиарды... — «А сколько это будет в иенах?») и девицы с площади Пигаль. Затем полагалось вести всю раскосую братию в какой-нибудь кабак или в прокуренное кабаре смотреть на голых женщин, довольно уродливых, но демонстрирующих груди куда более внушительные, чем бюсты японских супругов.

После этого все шли назад в автобус, и до следующей остановки он снова превращался в карету. Иногда Гвидо, поджидая экскурсантов, засыпал, уронив голову на большой руль (ведь он тоже учился днем), и Сильви долго с улыбкой разглядывала его, прежде чем разбудить. Ну, а желтолицые человечки, вновь засев в своей крепости, тем временем ставили крестики в своих проспектах, подчас путая один объект с другим. Или записывали что-то в черных клеенчатых книжечках значками, похожими на каких-то насекомых. Гвидо просыпался, улыбался Сильви — о, эта его белозубая улыбка! — и извинялся по-итальянски. Почему по-итальянски? Во-первых, когда он выныривал из сонного забытья, первыми в его сознании всплывали слова родного языка, а во-вторых, он не хотел, чтобы их поняли посторонние, эти учтивые крошки япошки. И все-таки он не желал замечать, что Сильви влюблена в него, а он — в нее. Пока не настал вечер седьмого июня.

Седьмого июня утром дверь комнаты Гвидо распахнулась, и — скорей, скорей — квартирная хозяйка бесцеремонно растолкала жильца, спавшего с улыбкой на устах — видно, ему снилось что-то приятное.

— Скорей, скорей, вас к телефону! — Хозяйка совала Гвидо переносной аппарат. Он машинально взял трубку: — Pronto! \*\*

\* Пульбо Франсиск (1879—1946) — французский художник, любивший изображать монмартрских мальчишек.

\*\* Слушаю! (*итал.*)

Еще не очнувшись ото сна, Гвидо мог говорить и понимать только по-итальянски.

— Silvia?

Да, это была она, и она очень торопилась:

— Я хотела тебя предупредить, чтобы сегодня вечером, в виде исключения...

Она уже договорила, раздались гудки, а Гвидо все прижимал к уху трубку, словно продолжая слышать ее голос, на лице его был написан восторг. Silvia... Наконец ему пришло в голову, что если он опять заснет, то, может быть, увидит ее во сне.

Никогда раньше Гвидо не приходилось разговаривать с Сильви так, как в этот раз: слышать далекий голос, не видя лица, не потому ли он вдруг понял, что она бесконечно дорога ему, и тут же испугался, что может ее потерять. Весь день томился он тревогой и нежностью. То и дело смотрел на часы — время не двигалось. На углу бульвара Сен-Мишель и улицы Дез Эколь он неожиданно подумал (по-итальянски): «Я люблю ее» — и застыл, словно пригвожденный к месту, не замечая, что его со всех сторон толкают спешащие прохожие, — наверно, они никого не любят, а может, успели разлюбить или вовсе забыть, что такое любовь.

Наконец наступил час японской церемонии, к этому времени Гвидо уже добрых пятнадцать минут сидел на шоферском месте, неотрывно глядя в ту сторону, откуда появлялась Сильви. Вернее, откуда она никак не появлялась — сегодня гид куда-то запропастился! Туристы заволновались, что выражалось у японцев в чуть заметном нахмурировании одной брови.

— В чем там дело? — крикнул издалека управляющий туристическим агентством. — Не задерживайтесь, уже пора!

Со страху, как бы Сильви не досталось, если ее отсутствие будет замечено, Гвидо рванул с места. Однако, едва доехав до менее освещенной улочки, остановился: у него так

отчаянно колотилось сердце, что он не мог ни вести автобус, ни думать, ни дышать. Но вот оно чуть поутихло, и первой мыслью Гвидо было: «Так я и знал. Господи, что же случилось? Я должен разыскать ее». Он опустил стекло, и в кабину ворвался ликующий ветер, который в тот вечер, седьмого июня, донес до самого сердца города весть о свадьбе весны и лета. Гвидо этот ветер навевал мечты о любви, о том, как он пригласит Сильви в воскресенье погулять, и о том, что он ей скажет... «Найти ее во что бы то ни стало!» — и он направил автобус по улицам, не предусмотренным маршрутом, начисто забыв о тех, кого вез.

Гвидо гнал без остановки и наконец, порядком удалившись от всех монмартров и монпарнасов, затормозил у стен женского монастыря, в котором располагалось также общежитие студенток, где жила Сильви.

— Just a minute \*, — бросил он, выходя из автобуса, терпеливо молчавшим японцам, вспомнив в последний момент об их существовании. — Just a minute.

Но они, соблюдая тишину и порядок, уже выходили вслед за ним.

Сестра-привратница философски отнеслась к вторжению вереницы улыбающихся посетителей — за тридцать лет службы она всякого успела навидаться. Да и вообще: кого и чем удивишь в июньскую ночь! Было еще не очень поздно, монахини гуляли под буйно цветущими деревьями, в саду заливались птицы, не желавшие, подобно капризным детишкам, ложиться спать, пока не споют еще один, самый последний раз.

Японцы принялись фотографировать — если бы не серые монастырские стены, они решили бы, что очутились в раю, к тому же им были в диковинку высокие чепцы монахинь.

— Сильви? — удивилась настоятельница. — Она ушла на работу как обычно. Нет-нет, больше я ничего не знаю. И уведите поскорее этих господ!

Гвидо собрал свое стадо и, не пускаясь в объяснения,

\* Минуточку! (англ.).

с мрачным видом зашагал прочь. У привратницы он узнал адрес ближайшей больницы — весьма трогательный, но совершенно бессмысленный порыв: если с Сильви и правда произошел несчастный случай, то почему непременно в этом квартале?

Типичная многокорпусная больница с лабиринтом чажоточных аллеек напоминала крошечный японский городок. Служители в серых халатах, которым полагалось охранять вход, играли в карты и обсуждали, скоро ли им прибавят жалованья: «Нам должны были уже с нового года платить по сто третьей категории. Впрочем, давно пора пересмотреть всю сетку тарифов!» А больничные ворота стояли нараспашку, и, несмотря на новое «just a minute», смиренные японцы вошли следом за Гвидо, разбрелись по дорожкам и стали обозревать все вокруг, не забыв, разумеется, вооружиться объективами. Гвидо тем временем искал кого-нибудь в белом халате. Наконец одна санитарка, тронутая его тревогой и красотой, заглянула в список поступивших больных: «Сильви? Сильви, а как дальше?»

Но Гвидо понятия не имел, как ее фамилия. Санитарка повторила ему то же самое, что и привратница в монастыре, и он понял, что она права.

— Но что же мне делать?

— Обратитесь в главное управление полиции — туда поступают сведения обо всех несчастных случаях.

Кипя от негодования, Гвидо поблагодарил ее сквозь зубы: зачем было произносить вслух «несчастный случай», ведь это может накликать беду на Сильви, — таковы уж все итальянцы!

А санитарка смотрела из окна, как кудрявый сказочный принц уводит за собой, словно Гамельнский Крысолов, стайку коротышек в шляпах. Она вздохнула, с завистью подумав об этой неизвестной Сильви.

Полицейское управление охранялось, как никакое другое здание в городе, однако это не помешало автобусу «Ночной

Париж» проникнуть в его широкий двор. Оккупации этого учреждения Гвидо попытался воспрепятствовать, но, к сожалению, не знал, как будет по-английски «категорически воспрещается». И как только он скрылся в мрачном подъезде, японцы вышли и стали брататься с полицейскими, на которых молодое лето действовало умиротворяюще. У одного из них шурин как раз жил в Токио — подумать только, как тесен мир... Пойдите, может, не в Токио, а в Киото? Те же самые буквы, долго ли перепутать... Другой полицейский, оказывается, посадил в своем садике в Гарен-Безоне японские вишни, и они, странное дело, зацвели второй раз в октябре. У вас тоже так?

Они уже принялись показывать друг другу фотокарточки детей и записывать иероглифами адреса, которые невозможно прочитать («мало ли, вдруг окажетесь в наших краях»), когда вернулся Гвидо. Приметы Сильви не подходили ни к одной жертве несчастного случая, но это не утешило, а только удручило его...

— In the car, please, hurry up! \*

Экскурсанты с сожалением расстались с новыми друзьями: все японцы обожают мундиры.

Гвидо пронесся по набережной Сены, оставив позади освещенный собор Парижской богородицы, на который туристы, занятые своими записями, даже не взглянули. В мгновение ока автобус доставил их к моргу. Это было последнее место, которое сменяемый тревогой Гвидо собирался посетить, впрочем, это посещение имело в его глазах скорее некий магический смысл, подобно заклинанию, и чем ближе он подъезжал к дому на набережной Рапе, тем дальше отступал связанный с ним страшный образ.

В Институте судебной медицины как раз в это время происходила смена персонала, и сопутствующая этой процедуре некоторая сумятица позволила японцам вслед за

\* В автобус, пожалуйста, побыстрее! (англ.).

своим вожатым просочиться в помещение. Чересчур услужливый работник успел открыть несколько отделений гигантского холодильника, прежде чем осведомился: «Что, все эти господа тоже родственники?» А господа японцы не могли прийти в себя от изумления: кто бы мог подумать, что в программу обыкновенной экскурсии для туристов входит посещение такого таинственного места? Здесь они не фотографировали, но самый старый японец пометил в своем проспекте крестиком и вопросительным знаком пункт «Обнаженные женщины».

Ни одна из этих красоток не была похожа на Сильви: заклинание подействовало. Гвидо рассыпался в благодарностях сверх всякой меры, но по-итальянски. Наконец он увел своих подопечных, которые в свою очередь взахлеб благодарили его: экскурсия превзошла все их ожидания! Но он не слушал и с блестящими от слез глазами повез их дальше: на сей раз путь совпадал с обычным маршрутом.

Однако вместо того, чтобы остановиться на углу ужасной площади Пигаль, Гвидо повел автобус по пустынной в этот час улице Лепик, сужающейся и идущей круто вверх. Он продемонстрировал чудеса водительского искусства, лавируя в узких улочках, и в конце концов достиг бокового входа в церковь Сакре-Кёр. Гвидо знал, что это единственная церковь в Париже, которая открыта всю ночь, единственное место, где можно броситься к ногам всевышнего и, распростершись на каменных плитах, молиться, заливаясь слезами, как в детстве, когда он мечтал стать священником, а потом и папой.

— Come on, come with me, all of you! \*

Теперь он уже не хотел, чтобы японцы спокойно сидели на своих местах; ему казалось, что будет лучше, если они все — буддисты, синтоисты, конфуцианцы или вовсе неверующие — предстанут с ним вместе перед единым богом,

\* Идемте, идемте все со мной! (англ.).

который один только знает, где Сильви, Сильви, Сильви, amoge mio \*.

Все на колени!

Японцы души не чают в таинствах и ритуалах. Их привел в восторг этот огромный храм, о котором ничего не говорилось в проспектах, но который показался им куда привлекательнее, чем нелепая мельница — Мулен-Руж: мимо нее они только что проезжали. Подражая Гвидо, каждый японец поставил по зажженной свече перед загадочными изваяниями.

Выйдя на широкую площадку между конными скульптурами двух святых, охраняющих вход в собор, они увидели раскинувшийся у их ног Париж, полыхающий огнями, — город, открывший им свои подлинные ночные тайны (о которых они без конца будут рассказывать у себя дома); и вдруг, к недоумению туристов, водитель потревожил тишину бескрайнего небосвода радостным воплем, и его словно ветром сдуло — так стремительно бросился он к какой-то девушке, стоявшей поодаль и, казалось, олицетворявшей Париж.

— Любовь моя! — повторял Гвидо, целуя лицо, шею, руки вновь обретенной Сильви. — Если бы ты знала, как я испугался...

— Но, Гвидо... — под градом поцелуев ошеломленная Сильви пыталась что-то объяснить, хотя Гвидо ее и не слушал. — Я же предупреждала тебя... утром... чтобы ты заехал за мной... Дай же мне сказать! Заехал сюда, потому что мне надо было присутствовать на торжественной службе... Я же все объяснила тебе по телефону!

— Я люблю тебя, Сильви. И ты любишь меня, да, Сильви? Скажи, что любишь, Сильви!

Они повернулись к Парижу, к расцветающему лету, к огромному небу, принадлежавшему им одним, и вздохнули полной грудью.

А японцы стояли на белых ступенях и фотографировали.

\* любовь моя (*итал.*).

## Колдовство

Когда хозяин дома вышел нам навстречу в сопровождении своей собаки, она привлекла наше внимание больше, чем он сам. В ней были грация и сила, горделивость и ум настоящего породистого животного (правда, породу вряд ли кто из нас сумел бы определить), и хотя она шла позади хозяина, казалось, будто она шествует впереди, да и походка у них была на удивление одинакова. Впрочем, слово «хозяин» я беру обратно, как совершенно не подходящее случаю. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что между ними существует какое-то парадоксальное равенство.

Никому из нас не приходило в голову спросить породу собаки или ее возраст, а тем паче — кличку. Да и хозяин дома в разговоре называл ее «она» и никак иначе. Всем своим видом она показывала, что не допустит никаких попыток к сближению, и только смотрела попеременно (однако совсем по-разному) то на этого молчаливого человека, то на нас, чувствовавших себя непрошеными гостями. Он показал нам каждый цветок в своем саду — ничего похожего на этот сад я доселе не видывал. «Я положил на него бог знает сколько времени, — объяснил он тем чересчур исполненным значительности тоном, какой присущ большинству одиноких людей. — Цветы мне нужны круглый год!» Хотя причину он не сообщил. Но, войдя в дом, мы и так все поняли. Фотография молодой женщины размещалась не в центре, а — как бы поточнее выразиться? — в сердце комнаты и была украшена букетом живых цветов — единственным в доме. Мне представилось, как хозяин в течение всего года, даже зимой, не дает угаснуть этой искорке жизни, рядом с которой предметы обстановки, вещи, гравюры на стенах, казалось, тускнеют, уходят в тень, в неизвестность. Вся эта мертвая материя служила лишь необходимой декорацией, и только портрет жил здесь, как жили цветы, мужчина и собака. Так я думал, глядя на портрет, а лишь только ото-

рвал от него глаза, как встретился взглядом с хозяином дома, наблюдавшим за мной с понимающей улыбкой.

Один из нас достал из кармана небольшую сигару и собрался было ее раскурить.

— О нет! — с живостью воскликнул х о з я и н . — Только не здесь, прошу вас.

И с извинениями предложил гостю сигарету. Кто-то здесь не выносил сигарного дыма.

Мы сели. Собака расположилась подле кресла своего спутника — не подобострастно, не заучено — и не легла, а села, как все остальные в комнате. Он не смотрел на нее, но в этом угадывалось не безразличие, а сдержанность. Иногда он поглаживал ее по голове или по загривку — не глядя, но заранее зная, куда ляжет ладонь. Быть может, так он призывал собаку к терпению: «Ничего, ничего, они скоро уйдут...» Или же возобновлял бесконечный диалог, прерванный нашим вторжением. Не сговариваясь, мы в самом скором времени отклонялись.

Когда год спустя я вновь повстречался с тогдашними своими спутниками, мне стоило большого труда унять свое нетерпение и не засыпать их вопросами по поводу того странного посещения. Наконец как можно более безразличным тоном я спросил:

— А как поживает ваш друг? Ну тот, с собакой, к которому мы заходили?

— Как? Вы не знаете, что он покончил с собой?

— Откуда же я могу это знать? — Впрочем, эта новость меня почти не удивила. — Покончил с собой... Наверно, не вынес одиночества?

— Только не поэтому. Он давно одинок: прошло уже много времени с тех пор, как молодая женщина — вы видели ее фотографию...

— Умерла?

— Нет, исчезла. Больше никому ничего не известно: все мы в ту пору избегали задавать ему вопросы.

— Тогда почему же он?..

— Послушайте, — вступила в разговор жена моего знакомого, — только... только не смейтесь над тем, что я сейчас вам скажу: за несколько дней до его самоубийства та странная собака, которую вы, конечно, хорошо помните, пропала.

— И она тоже?!

Не знаю, как вырвались у меня эти слова — глупые слова, но, услышав их, мои собеседники вздрогнули.

— Да, и она тоже, — подтвердил мой знакомый, глядя в сторону. — Это случилось в прошлом году, вскоре после той страшной засухи. Сад, которым он так дорожил, погиб, засох на корню, несмотря на все его усилия.

— И не осталось ни одного... цветка? — спросил я дрогнувшим голосом.

— Ни единого.

## Венок

Сквозь грязные оконные стекла (после смерти Денизы их ни разу не мыли) толстяк Фернан увидел госпожу Данже и госпожу Шалифур, жестикулируя, они спорили о чем-то у родника.

— Гляди-ка, плакальщицы!

Он проговорил это вслух, повернувшись лицом к кухне, — ведь Дениза прежде всегда бывала там, а он был слишком стар, чтобы менять свои привычки.

Плакальщицы воздевали руки к небу и сокрушенно качали головами. Фернан не выдержал, встал, привычным еще со школьных лет жестом обмотал шею платком, который от времени стал грязно-серым, как и его волосы, и направился к роднику, крикнув призраку Денизы: «Я скоро вернусь!»

— Ну, что новенького?

— Умер господин Гремблар. В четверг похороны.

— Виктор? И этот туда же! — сказал он словно с упрямством. Печали он не испытывал, только чувство тревоги — его бастионы рушились. Всякий раз, когда вот так исчезал кто-нибудь из тех, кто был на групповых фотографиях, снятых либо в школе, когда им было по десять лет, либо в казарме сто девятого полка, когда им было по двадцать, он чувствовал себя неуверенно. А теперь вот и Виктор сыграл в ящик.

— Когда же это случилось?

— Вчера под вечер.

— Он что, болел в последнее время? — спросил Фернан без особой надежды на положительный ответ.

— Как бы не так! — безжалостно ответила одна из плакальщиц. — Я видела его еще третьего дня: он был здоровее нас с вами.

В его бастионе пробита новая брешь.

— И вы, как обычно, будете ходить по домам, собирать на венок?

— Вот уж нет! — сказала госпожа Шалифур, поджав губы. — Мы как раз обсуждали этот вопрос. Нет, на этот раз мы и пальцем не шевельнем.

— Но ведь обычно...

— Уж позвольте нам, господин Шово, сохранить наше женское достоинство!

— Всему есть предел, — заявила госпожа Данже.

— Но Виктор умер. Он имеет право, как и другие...

— А как он жил?

— Жил, как все.

— Да? Вы слепы, господин Шово, дружба вас ослепила.

— Я знаю, вы не любите охотников, но...

— Да, вот именно, он был охотником!

— Ну, согласен. Пожалуй, он любил поесть, слишком много пил.

— Все эти мужские забавы нас не интересуют, — сказала

госпожа Шалифур с явным отвращением, — все эти сборы ветеранов, банкеты, кафе...

— И политика тоже, — добавила вторая дама.

— В чем же тогда дело?

Они замолчали надолго, и было слышно лишь безмятежное журчание родника.

— Господин Шово, — проговорила наконец одна из плакальщиц, отводя глаза. — Уж кому-кому, а вам мы не хотели бы давать объяснения. Идемте, госпожа Шалифур!

Фернан бесцеремонно схватил ее за руку:

— Ну уж нет, госпожа Данже, так дело не пойдет!

Он защищал не только Виктора, но и рыболовное общество, сто девятый пехотный полк, партию радикалов, всех «Веселых игроков в шары» — словом, всю сильную половину человечества.

Плакальщица резким движением вырвалась из его рук и догнала подругу.

— Ну и ладно, я сам займусь венком! — крикнул им вслед Фернан. И он начал ходить из дома в дом: — Вы ведь знали Виктора Тремблара?

Для приличия он надел свой черный костюм.

В это время дня большинство мужчин были на работе или сидели в кафе, двери открывали ему женщины: — И вы, господин Шово, лично взялись за это? Это очень... как бы это сказать? Очень похвально!

— Вот уж не понимаю почему! — Толстяк Фернан начал злиться. — Похвально.

Другая сказала: — Великодушно.

Третья: — Я не думала, что вы такой добрый христианин!

Почти все как-то насмешливо улыбались, улыбка иногда сменялась ностальгическим выражением, молодившим лицо. «Виктор. Ах, Виктор», — шептали со вздохом женщины. А жена столяра даже прослезилась и дала крупную купюру.

«Ну и удивятся же эти две кумушки, когда увидят, сколько я собрал. Какой роскошный будет венок!» В охватившем

его азарте Фернан почти забыл о покойном: он им покажет, чего он стоит!

В дверь Бредена, бывшего художника, ему пришлось стучать долго.

— Госпожа Бреден, откройте! Это я, Фернан... Гляди-ка, Арсен, ты дома?

— Да, старина, это... это я. — От него разило спиртным.

— Опять ты напился.

— Слушай, Фернан, попрошу не... Черт возьми, помоги мне сесть.

Бреден рухнул в свое старенькое кресло, бутылка стояла рядом.

— Я собираю деньги на венок Виктору.

— Какой еще венок! Пойди-ка лучше возьми себе чистый стакан.

Фернан отказался и стал терпеливо объяснять Бредену, что вчера вечером умер Тремблар, что обычно всех обходят плакальщицы, но эти две старые ведьмы...

— И за это дело взялся ты сам? — Арсен расхохотался, он хохотал до слез. Он весь побагровел, казалось, красное вино, что он выпил, бросилось ему в голову, даже вытаращенные глаза покраснели. — Ну ты даешь, Фернан, черт бы тебя побрал!

— Ты поступил бы точно так же, Арсен.

— Может быть, но я — другое дело. А вот ты...

— А что я, что я?

— Но, старина, он же вам всем наставлял рога, этот Виктор! И Беретро, и этому идиоту Ледюку, Эрнесту... Кому еще? Кабатчику, черт возьми! И тебе, как и всем.

— Если бы ты не был пьян как сапожник, я бы тебе влепил, Арсен. Ты не имеешь права оскорблять Денизу.

— Уж с твоей-то Денизой он точно переспал. Видно, ты не очень-то уделял ей внимание. Рыбалка, Фернан, это здорово, но, знаешь, твой дом в это время открыт для всякого. А Беретро, тот все ходил на свои собрания ветеранов. А этот идиот Ледюк со своими партийными делами... А бедняга

Эрнест слишком любил играть в шары. За все надо платить, старина, за все.

— А ты-то сам! — взревел Фернан, вдруг припомнив кое-какие подозрительные подробности. — Ты думаешь, с тобой все в порядке?

— Ну конечно! — серьезно ответил Арсен. — Я же редко выхожу из дому.

— Зато твоя Адель выходит. Вот так-то! — крикнул Фернан и выскочил на улицу, хлопнув дверью. Он задыхался, ему трудно было идти. Нет уж! Больше он не пойдет ни к кому. Виктор, ну и негодяй Виктор! Вот что: нужно рассказать об этой истории всем мужчинам в деревне, но только чтобы каждый не знал про себя самого... Нет, каков подлец!

О Денизе он думать не хотел, решил оставить эти мысли до вечера, отныне каждый вечер он будет думать об этом! Сейчас он думал только о себе, о Беретро, о Ледюке, Эрнесте, о сто девятом полку, обществе рыболовов, партии, словом, о чести всех мужчин. Правый карман оттягивали позвякивавшие при ходьбе монеты, будь они неладны. «Венок для Виктора, еще чего!»

Он внезапно принял решение и направился к дому кузнеца.

— Эй, Беретро, ты не занят? Пойдем-ка со мной. Зайдем за Ледюком. А потом за Эрнестом, а? Давненько мы все вместе не опрокидывали по стаканчику. Не надо забывать друзей — время идет, неизвестно, кто завтра будет жив, а кто перекинется. Ну пошли!

Они вошли в кафе, веселые, довольные собой, как новобранцы. «Хорошо ты придумал, Фернан! Надо бы видеться почаще, посидеть вот так, вместе».

Один Фернан хмурился. Он вынул из кармана горсть монет и бумажек.

— Эй, хозяин, открой нам счет — все это надо растрясти до четверга. И выпей с нами! Ты тоже заслужил!

# Дарио

— А вам, господин Дарио, как всегда — ломтик ливерного паштета? — спросила хозяйка колбасной лавки.

— Да, пожалуйста, — ответил он и вернулся к своим мыслям. «Может, лучше накладной нос, в котором будет загораться лампочка. Совсем крошечная лампочка... Соединяешь в кармане контакты... Да, но я могу сжечь свой собственный нос!»

— Как это — сжечь нос? — удивленно спросила лавочница.

— Простите, — смутился господин Д а р и о , — я, наверно, думал вслух. Я, видите ли... Просто я...

— С вас два франка семьдесят сантимов, — не дослушав, перебила она.

— Спасибо.

И он незаметно выскользнул из лавки, будто человек-невидимка.

Но когда он вошел в булочную, в голове уже снова вертелось: «А еще лучше — надувной нос! Это будет намного проще: надо надеть на нос воздушный шарик... Да, но куда деть трубку и грушу?..»

— Вам полбатона, господин Дарио?

— Да, пожалуйста.

«Вот только будут ли они смеяться? Зрители теперь пошли пресыщенные или мрачные... А чаще всего то и другое вместе: потому и мрачные, что пресытились... Телевидение доставляет им на дом, и притом бесплатно, лучшие цирковые номера со всего света — где нам с ним тягаться! Только малыши еще умеют смеяться. Да и их портят всей этой рекламой. Сейчас достаточно работать под тех типов, что рекламируют сыр или стиральные машины, говорить, как о н и , — и успех обеспечен! Только это не по мне...»

— У вас есть дети, госпожа Брюн? — вдруг спросил он у булочницы.

— Да, — ответила та, — трое: старшему десять, среднему восемь, а младшему шесть лет.

— Вы водите их в цирк?

— Никогда. Да чего там хорошего: страшные хищники, которые, того и гляди, бросятся на вас, лошади, которые брыкаются, летающие акробаты — от всего этого дети только кричат по ночам! Нет уж, увольте!

— Конечно, — робко вставил он, — но бывает еще... бывают и смешные номера!

— Клоуны, что ли? Мне, например, глядя на них, не смеяться, а плакать хочется.

— Ну, это вам, а детям?

— Не знаю почему, — продолжала она, не обращая внимания на его вопрос, — но я всегда представляю их себе после выступления: без парика, накладного носа и грима, маленькие, тощие, в задрипанном плащике...

Она разрежала пополам длинный батон и завернула его в жалкий обрывок чуть ли не туалетной бумаги. И только тут взглянула на Дарио: маленький, тощий, он был так похож на ее описание, что ей стало не по себе. А его больно ранили слова госпожи Брюн. Опустив глаза, он протянул ей мелочь. Ему казалось, что все покупатели в булочной смотрят на него.

— Конечно, это дело вкуса, — сказала она, — моя золовка, так та...

«Сейчас она скажет, что золовка водит детей в цирк каждую неделю!» — подумал Дарио.

— Да, да, госпожа Брюн, — пробормотал он, сунул булочнице мелочь в обмен на свою грошовую покупку и поспешно зашагал прочь — маленький человечек в задрипанном плаще. Он дошел до площади и сел на скамейку, рядом с развалившимся на ней бродягой. «Привет!» — сказал он бродяге. Тот дружелюбно кивнул в ответ.

Взгляд клоуна упал на ботинки бродяги, они показались ему куда смешней тех, в которых он выходил на арену: их

комичность была естественной, а не вымученной. Вот бы их купить!

Господин Дарио украдкой наблюдал за своим соседом, который крутил самокрутку: «Если это хорошо разработать, выйдет бесподобный номер». Заскорузлыми толстыми пальцами бродяга норовил завернуть в микроскопический клочок бумаги непомерно большую щепоть табака. Он беспрерывно вертел бумажку в руках, стараясь умять табак, однако дело не двигалось. Но вот, будто играя на флейте, он проворно провел языком по своему бесформенному изделию, склеил его и скрутил оба конца, словно запер табак с двух сторон. Зажигалка, которая никак не хотела зажигаться, могла бы стать темой второй репризы. «Если очень постараться, можно смастерить такую же, только, конечно, здоровенную и чтобы каждый раз давала осечку!»

Наконец его соседу все же удалось добыть огонь, он наклонил голову и поднес к зажигалке то, что никому, кроме него, не пришло бы в голову назвать сигаретой; мгновенная вспышка — и его рыжая борода чудом не загорелась, пять минут кропотливого труда буквально пошли прахом. Фейерверк кончился, пепел разлетелся.

«Какая концовка! — подумал клоун. — Надо будет еще взорвать петарду...» И он с сожалением вспомнил о детях госпожи Брюн, которые никогда не увидят номер «Самокрутка Дарио».

— А, черт! — только и сказал бродяга, небрежным жестом светского льва стряхивая пепел с лоснящихся лацканов пиджака.

— Да, досадно! — посочувствовал Дарио. — Простите за нескромность, как вас зовут?

— Паоло. А вас?

— Дарио.

— А чем вы занимаетесь?

— Чем занимаюсь? Я — Рыжий. — Он употребил старое цирковое словечко.

— В каком смысле? — вежливо переспросил его собеседник.

— Ну как же — клоун, веселю публику в цирке.

— Ах, клоун, — повторил бродяга. — Ясно.

— Вот вы, когда были ребенком, вы любите цирк? — чуть не накинулся на него Дарио.

— Мне нечасто приходилось там бывать. Да я и не жалею: не в обиду вам будь сказано, но я вообще-то боялся клоунов.

— Боялись? — Дарио инстинктивно отодвинулся от соседа. — Но почему?

— Не знаю. Это и не дети, и на взрослых они не похожи. Понимаете? Правда, — ни с того ни с сего добавил он, — я был сиротой.

Они помолчали, но Дарио (хоть и подумал: «Да зачем его об этом спрашивать? Опять нарвусь на оскорбление!») не утерпел:

— Скажите, что, по-вашему, смешнее: нос, который раздувается, или нос, который загорается?

Бродяга посмотрел на него невидящим взглядом, наморщил лоб и наконец сказал, качая головой:

— Мне частенько приходится вставать с распухшим носом, а к вечеру, в такое вот время, как сейчас, он у меня порой горит огнем, так что и впрямь можно сказать... Да только я не вижу в этом ничего смешного.

Дарио резко встал.

— Всего хорошего!

Он отошел уже шагов на десять от скамейки, когда бродяга сиплым голосом окликнул его:

— Эй! А зачем вам это надо?

— Что именно?

— Ну, этот цирк.

— То есть как зачем! — взорвался Дарио — он уже с самого разговора с госпожой Брюн предчувствовал эту вспышку. — Мой дед был правой рукой Буффало Билла! Потому что мой отец, Великий Кармо, был королем магов! Моя же-

на, мисс Дарлинг, — непревзойденная наездница! А наш сын Растоли — первый в мире жонглер!

Бродяга встал и отвесил ему шутовской поклон.

— Ну, а вы-то сами кто?

— Я? Я, — повторил Дарио, потрясая над головой хлебом и свертком с паштетом, — я, — воскликнул он и повернулся на месте, словно приветствуя рукоплещущий зал, — я — Дарио, комик века!

## Папаша

Кто поручил ему охранять дом? Насколько мне известно, никто. Однако достаточно было увидеть, как по-хозяйски он сидит перед воротами (выдающаяся вперед челюсть придавала ему весьма высокомерный вид), чтобы понять: этот упитанный страж не допустит на своей территории никакого беспорядка. Да и чтобы оценить прозвище, которым, не сговариваясь, наградили его люди, — Папаша. Толстяком он не был, но важно выпячивал грудь, как слишком уверенный в себе человек. Весь квартал не то с опаской, не то фамильярно величал его Папашей, и он благодушно откликался. Порядок и Долг... Доведись ему выбирать себе девиз, подобно епископам, которым он не уступал в величественности, он бы остановился именно на этом: «Порядок и Долг»... Постепенно он стал приглядывать и за соседними домами, а потом за целой улицей, за всем кварталом и неторопливо обходил свои владения. Людям приходилось терпеть надзор, хотя они иногда ворчали:

— Слишком много он себе позволяет! Каждый волен делать, что хочет...

— О нет, сударь, вы вовсе не вольны шуметь на улице, пить без удержу, лупить детей... А если вам этого хочется, убирайтесь-ка из нашего квартала...

Конечно, такое красноречие было недоступно Папаше, но его понимали и без слов. Возмутитель спокойствия удирал прочь со всех ног и больше не смел приближаться к грозному часовому.

«Молодец, Папаша!» — думали обитатели квартала, но никогда не благодарили старика вслух. А за что благодарить? Порядок и Долг...

Но как-то раз — видно, это вечная история! — в квартале появилась некая обворожительная особа, и оказалось, что Папаша (может быть, впервые в жизни) не остался равнодушным к незнакомке.

— В его-то возрасте — какой ужас! — полушутя, полусерьезно говорили люди. Более опытный кавалер не клюнул бы на столь развязную и доступную красотку. А Папаша пал жертвой ее чар. Не в первый же вечер, конечно, но знаете, как это бывает: он провожал ее умильным взглядом, с небрежным видом отправлялся ее искать, притворяясь, будто совершает привычный обход... К тому же Папаша за версту чувствовал сопровождавший ее пряный аромат. Короче, наш герой побежал на свидание, назначенное (во избежание пересудов) довольно далеко от его улицы, потом еще раз и еще...

К сожалению, о любовных подвигах Папаши проводили не только жители квартала. Когда он оставил свой пост в третий раз, в дом нагрянули воров. Стояло лето, и они преспокойно обчистили все квартиры. Вернувшись на заре, пылкий любовник сразу почуял недоброе. Правда, он надеялся, что многолетняя бдительность и верность долгу спасут его от оскорбительных упреков. Но не тут-то было: жильцы, соседи, местные лавочники — все на него набросились. Папаша занемог от горя, перестал показываться на люди, пить, есть и отверг все заботы. Похоже, от стыда и вправду умирают, ибо так с ним и случилось. А что же его возлюбленная? Ее и след простыл — бездомная сучка, послужившая причиной всех этих бед, давным-давно покинула квартал.

## «В случае опасности потяните за ручку...»

На семьдесят шестом километре помощник машиниста экспресса «Париж — Брест» вдруг вспомнил, что не поцеловал на прощанье сынишку.

Разумеется, надо было возвращаться в Париж, но как? Задним ходом опасно. Вообразите себе состав, на всех парах мчащийся задом наперед! А что будет с пассажирами, которые, чтобы их не укачало, купили места по ходу поезда?.. Нет, куда благоразумнее подождать переезда на семьдесят девятом километре, с разрешения машиниста спрыгнуть, открыть шлагбаум («Влезешь на ходу, старина!» — скажет ему машинист) и свернуть влево на автостраду, ведущую в Париж...

Сойти с рельсов... К чему эти громкие слова? В конце концов это означает всего лишь плюнуть на рельсы и поехать другим путем, а подобная операция, проделанная опытной рукой с соблюдением всех предосторожностей, не представляет никакого риска, тем более на малой скорости. Ведь считаете же вы в порядке вещей, что асфальт выдерживает какой-нибудь фургон на четырех железных колесах, так почему бы восьмиколесному вагону или двенадцатиколесному локомотиву не катить по шоссе с таким же успехом? И вот доказательство: скорый «Париж — Брест» едет себе по автостраде Брест — Париж, и все его пассажиры мирно посапывают во сне.

Было четыре утра, и вторжение в Париж прошло как ни в чем не бывало. Помощник машиниста, живший неподалеку от переезда, притормозил у своего дома, сказал напарнику: «Подожди-ка меня минутку» — и зашел поцеловать своего спящего малыша.

На рельсы они вернулись возле Версаля-Шантье без всяких приключений. Ночная дорога из Парижа в Версаль полна очарования: луна, уснувший дворец... Машинист с по-

мощником пришли в восторг и решили на днях непременно повторить на славу удавшийся маневр.

На другой день обычный маршрут показался им убийственно скучным, а на третий машинист сказал помощнику:

— Слушай, приятель, я забыл дома платок. Ничего, если мы...

— Это правда? — спросил его напарник, но лишь для порядка.

А сам мысленно уже прикидывал, где можно съехать с полотна и как потом вернуться на него другим путем. Не подумайте, что для этого достаточно атласа автомобильных и железных дорог Франции. Еще нужно досконально знать расписание движения поездов, иначе крушения не избежать. Но специалисту с пятнадцатилетним стажем по плечу и не такое.

Правда, на этот раз вышла небольшая накладка: когда они стояли в Париже, один из их пассажиров проснулся и решил прогуляться по платформе. Заметив открытое кафе, он зашел туда выпить лимонаду и спросил у хозяина, такого же сонного, как он сам:

— Когда тронется поезд?

— Какой поезд? — недоуменно отозвался тот.

— Брестский скорый, какой же еще?

— А мне откуда знать? Справьтесь на вокзале Монпарнас!

Каждый из них посчитал другого малость не в себе, и на этом разговор закончился. Однако, выйдя из кафе, пассажир уже не обнаружил своего поезда, и, поскольку он в одной пижаме возвращался к себе домой, у него возникли недоразумения с полицией. Полицейские отпустили бы его с миром, не толкуй он так упрямо про какой-то поезд, из которого он якобы только что вышел. Нет, вы представьте себе: на проспекте Домениль!

А другой пассажир проснулся как-то раз посреди Булонского леса (слева озеро с островом, справа теннисные корты — нет, ни с чем не спутаешь!) и чуть было не дернул

за ручку аварийного сигнала. Но он вовремя прочитал на таблице, что «сигналом запрещено пользоваться без уважительной причины» и что «нарушителю» грозит наказание — штраф бог знает в сколько франков или даже несколько лет тюрьмы! Булонский лес... Кто знает, уважительная это причина или нет? Пассажир засомневался и «нарушать» не стал. Проснувшись наутро в Бресте, он уверил себя, что все это ему приснилось.

А локомотивная бригада об этих происшествиях не подозревала и посему продолжала свои вылазки. В тайну посвятили еще контролера и почтового курьера. Теперь они могли позволить себе, например, подбросить на бульвар Жана Жореса в Дрелиньи одного пассажира, которому иначе пришлось бы ночью идти пешком всю дорогу от вокзала до дома, или вручить корреспонденцию адресату в собственные руки — короче, оказывать людям разные услуги.

Так они посетили множество живописных уголков, обычно не обслуживаемых железной дорогой. Подъехали спеть серенаду под окна президента своей компании, обитавшего на одной из вилл близ Вейлуара. Тот вышел в ночной рубашке на балкон, растроганно поблагодарил: «Спасибо, друзья мои!» — и вернулся досыпать. Назавтра он никому не рискнул поведать о посетившем его видении: много ли надо, чтобы лишиться места?..

Однако похождениям брестского экспресса суждено было завершиться трагически. Однажды ночью, вернувшись на рельсы после скромного ужина бригады в Орлеанском лесу, состав столкнулся с автобусом — идиот водитель, устав от езды по асфальту и желая выгадать время, поехал по железнодорожному полотну. Двенадцать человек насчитали убитыми и восемнадцать — ране...

— Э ж е н , — сказала помощнику машиниста ж е н а , — хватит дрыхнуть с трубкой в зубах. Допивай кофе — он уже, наверно, совсем холодный — и дуй на вокзал: ты опаздываешь!

— Черт побери, уже двадцать один одиннадцать! Я еле еле успеваю...

Нахлобучив фуражку, он выскочил на лестницу. Но на площадке второго этажа он вспомнил, что забыл поцеловать сынишку, и побежал наверх исправить упущение — как бы чего не вышло...

## АГРЕГАМ

Десятого марта погода вдруг изменилась. Выйдя из министерства, Шарль В. замер, пораженный, с улыбкой на губах и со смутным беспокойством в душе, как переступивший порог вокзала путешественник, перед которым открывается неведомая страна. В этот день такой страной предстала ему весна, явившаяся на несколько недель раньше срока. В. остановился на ступеньках перрона, на самом проходе, так что его коллеги, торопившиеся в метро, чтобы поскорее добраться до своих берлог, то и дело задевали его.

— Вы что, В., в соляной столб превратились? — спросил один из них.

— А вы ничего не чувствуете?

— Что, горит? — Нахмурившись, тот потянул носом.

— Да нет, вот это...

В. вдруг осознал, что весна определению не поддается, и пробормотал: «Этот запах... теплый, мятный воздух...»

— Да, конечно, — прервал его коллега и глянул на часы, — до завтра, старина.

Весь во власти нежного весеннего запаха, В. дошел до сада Тюильри, благо он был рядом, и в сладком изнеможении опустил на скамью под каштаном, как и он, тайно ощущавшим приближение счастливой поры. Ее приход не окрепшим еще голосом возвещала и какая-то птица. В. прикрыл глаза, стараясь не думать о своей жизни — жизни без силь-

ных чувств, без детей, без весен и зим.

Лишь когда стемнело и вечерняя прохлада рассеяла очарование (В. уже давно полагалось быть дома, но в этот вечер «домом» ему стал сад), он встал и скрепя сердце направился к метро. «Надо же, — удивился он, спускаясь по серым ступенькам, — капли какие-то на пальто. А ведь дождя не было». Он не сразу догадался, что это слезы. Но почему он плакал? От весны, от счастья, плакал оттого, что живет.

Госпожа В. уже начала тревожиться.

— Что случилось, Шарль? Я места себе не находила. За тридцать лет вы ни разу не опоздали... Я и в министерство звонила; никто, конечно, не ответил. Надо хоть дежурного у телефона оставлять. А если бы и правда что-нибудь стряслось...

Трескотня супруги дала В. время прийти в себя. Он понял, что сильно привязан к жене, но и только. Славно иметь в жизни такую надежную, внимательную спутницу, знающую, когда что надо делать. «Будь у нас дети, все было бы иначе, — в который уже раз подумал о н, — изменился бы и я, и она, и весь дом... У нас была бы другая жизнь, мы бы радовались весне, лету...»

Но сейчас ему надо было как можно скорее придумать причину своей задержки, причину более правдоподобную, чем неотвратимость весны, чем появление ее передовых отрядов в саду Тюильри. Правда лишь растревожила бы эту добрую женщину, и впервые в жизни В. солгал супруге. Это показалось ему столь недостойным, что, сам того не желая, он вместо того, чтобы дать какое-то разумное объяснение, вдруг сочинил совершенную небылицу.

— Я задержался из-за АГРЕГАМа, — и он покачал головой, — я и не думал, что из этой затеи что-то получится.

— Из-за Гергама?

— АГРЕГАМа, дорогая: А.Г.Р.Е.Г.А.М. Ты ведь читала об этом в газете? Неужели не читала?

Каждое утро, потягивая свой кофе с молоком, он проглядывал газету, а потом оставлял ее супруге, чтобы и она была

в курсе последних событий. Но одно только слово «события» и необходимость быть «в курсе» пугали ее. Потому-то она газет никогда не читала, а по радио слушала только песенки да рекламу, которая, наоборот, действовала на нее успокаивающе, ведь там речь шла лишь о ней и об ее убогом миреке. В. давно знал это, но в первый раз это знание сослужило ему добрую службу.

— АГРЕГАМ, Матильда!

— Ах да, конечно, — пробормотала она, — как это я запомнила. И что же... из этой затеи что-то получается?

В. понизил голос:

— Сегодня после работы было первое собрание.

— Но вы хотя бы предупредили меня, Шарль!

— Да разве я мог предположить, что это коснется и меня. Откуда мне было знать, что мне предложат войти в рабочую комиссию?

— Это должно быть... почетно, — закинула удочку жена.

Он пожал плечами и скромно потупился. Ему не по душе было разыгрывать комедию, но разве он виноват в том, что открыл для себя весну.

— Вы хотя бы позвонили...

— Я думал, — нашелся он сразу, но гордости от своей находчивости не испытал, — я думал, что задержусь на четверть часа — но куда там!

— А кто еще в этой комиссии?

Тут он почуял опасность: госпожа В. поддерживала отношения с женами большинства его коллег.

— Да все из других управлений: генеральный секретарь по вопросам культурных сношений (такого и в помине не было), заместитель директора финансового отдела, других я только по имени и знаю. Потому-то я был весьма удивлен, когда они предложили мне к ним присоединиться. Тем более что это организация секретная.

— Понятно, — кивнула госпожа В., и ему стало немного стыдно. — Шарль, а это не повредит вашему продвижению по службе?

— Не повредит, но и не облегчит. Быстрее в гору не пойду, конечно, если из этого вообще что-нибудь получится.

— Но тогда, — нерешительно проговорила она, — какая же польза от этого?..

— АГРЕГАМа? — Он вдруг вспомнил тот каштан, ту птицу. — В том-то и польза, что это бескорыстная деятельность. Все благородные начинания, Матильда, держатся на этом. Повторяю, полная бескорытность, когда человек делает что-то для других. Для себя лично я ничего от этого не жду, разве что...

Он смешался и покраснел; к счастью, она сама закончила за него:

— испытывать чувство гордости за то, что делаешь что-то полезное и помогаешь людям, — как я вас понимаю, Шарль!

И она притронулась к его серому рукаву маленькой пухлой рукой, на которой читалась вся их жизнь: кольцо, полученное ею в день помолвки, обручальное кольцо, браслет, подаренный мужем на серебряную свадьбу.

— АГРЕГАМ, — повторила она не без гордости. И, помолчав, добавила: — Ох, какая же я глупая! Теперь я припоминаю, что вы мне о нем уже говорили. А как часто вы будете там заняты?

— Пока ничего не могу сказать, — произнес он, отведя взгляд, — но, Матильда, если вдруг я снова припозднюсь, никогда больше не волнуйтесь...

Теперь он каждый вечер возвращался домой поздно, и пришлось перенести время ужина. Раньше он, как правило, приходил домой обедать, но теперь это случалось редко.

— Но это будет накладно, — беспокоилась госпожа В.

— Нет, — успокоил он ее, — обед АГРЕГАМ оплачивает.

— И на том спасибо.

Она чувствовала себя уязвленной, и в то же время ей было лестно: как если бы муж завел связь с блестящей женщиной, чье имя у всех на устах.

— Но вы-то сами обедаете тут без меня?

— Так, погрызу что-нибудь, — ответила она удрученно,

хотя и стараясь держаться молодцом. — Вы же знаете, Шарль, когда вас нет, мне и в рот ничего не лезет.

«Наверно, овдовев, женщины худеют», — ни стого ни с сего пришло ему в голову. Все же ему было не по себе, и он успокаивался, только когда жена рассказывала, что обедала со своей приятельницей и что на следующий день пойдет с другой в кино на двадцатичасовой сеанс. Или что они с подругами, чьи мужья тоже не приходят обедать домой, собираются раз в неделю играть в бридж.

— Вот и хорошо. И я не волнуюсь, а то меня мучит, что я не могу уделять вам столько внимания, как прежде. Только, ради бога, не рассказывайте никому про АГРЕГАМ.

— А что я могу рассказать? — обиделась она (и лицо ее словно заострилось), — ведь вы со мной никогда не делитесь...

— Еще не время, — бросил он на всякий случай. — И потом, мы условились о полном соблюдении тайны.

— Но жене все же можно было бы...

В. почувствовал сильнейшие угрызения совести: он и не помнил, чтобы когда-нибудь прежде лгал супруге или даже просто что-то скрывал от нее.

Он чуть было не сознался во всем... Но в чем, собственно, ему было сознаваться? В том, что на шестом десятке он вдруг открыл для себя Природу? Открыл непостижимое величие этого мира, в котором люди, ничего не видя вокруг, раскинули свой временный стан и из которого немилосердно выжимали соки, — и природа в добродушии своем уступала им, словно кошка, которая мурлычет от счастья, когда ее сосут изголодавшиеся котята, и не обращает внимания на то, как сильно они ее теребят. Ведь это мурлыканье и есть, собственно говоря, лето. Весна, поначалу робко (В. заметил ее первый кивок), а под конец с безудержной лаской заявившая о себе, прошла, ее сменило лето, и Природа теперь мурлыкала от счастья.

Это бездумное счастье захватило и В. Однако Тюильри ему теперь не хватало; теперь он знал в Париже все сады,

знал, какие где деревья и цветы на клумбах. Он накопил книг о природе, чтобы узнать, как называется каждое из этих чудес. Там, где ребятня пробегала, ничего не видя, где гуляющие даже не поднимали глаз, В. стоял подолгу не шевелясь, словно и сам становился деревом, и сердце его бешено колотилось от восхищения (колотилось в буквальном смысле слова, так что казалось, вот-вот разорвется), но еще и от любви, от желания слиться с этими деревьями, стать одним из них... Легкое бремя листьев, прихотливые движения быстрых птиц, нежное дуновение или резкий порыв ветра, благоухание цветов (ах, эти липы в июне!), обилие семян — казалось, все это жило в нем самом. Он склонялся над клумбами и нередко плакал, любуясь совершенством цветов.

Его удручало лишь то, что их сажали уже распустившимися. Ему же хотелось полюбить их в дни прорастания, когда черную землю прорывает еще бесформенный росток или, напротив, растеньице, уже похожее на то, каким оно станет, столь же совершенное, как ручонка новорожденного. Он забредал в самые отдаленные концы города, в оранжереи, чтобы день за днем наблюдать за этим чудом. Он приходил в полдень и погружался во влажную духоту, которая царила под стеклянными сводами, и выходил, лишь когда ему не хватало воздуха. Ничто так плохо не сказывалось на его сердце, и всегда-то слабом, но на это он не обращал внимания.

Садовники, эти парижские крестьяне, начали его признавать; и он уже обращался к ним по имени и с истинной благодарностью пожимал их заскорузлые руки с черными ободками под ногтями. О чем он их только не расспрашивал; имея связи в министерстве, В. оказывал им разные мелкие услуги, для них очень важные, но, как считал он сам, ничего не стоящие по сравнению с тайнами прививки или черенкования, которыми делились с ним они. Увы, его рукам, таким белым, долго еще придется марать бумагу, составлять досье, перекладывать без толку с места на место эти папки...

Словно нерадивый ученик, В. частенько смотрел в окно своего кабинета на кончик ветки. Этого было достаточно, чтобы напомнить ему о времени года, а в погожие утренние часы на ветку садилась птица, которая одним своим видом и утешала его, и приводила в отчаяние.

Утром, ожидая поезд метро, он подолгу с мечтательной улыбкой внимательно и в то же время рассеянно разглядывал план Парижа, который висит на каждой станции. Привлекали его лишь зеленые промежутки: парки или кладбища. Теперь он знал их все, даже самые жалкие, и каждое из этих пятнышек вызывало у него радостные воспоминания. Он знал, где хорошо бродить в полдень, где в сумерки, какие уголки осенью краше, чем весной, какие места облюбовали синицы и куда навешиваются белки.

Он заметил, что за зиму кусты, да и некоторые деревья ничуть не меняются. Он подолгу выстаивал рядом с ними, с этими безмолвными часовыми, и, когда глубоко уходил в созерцание голой земли и обнаженных ветвей, ему удавалось представить себе, нет! — воочию увидеть, что станет с ними через несколько месяцев: это чудесное превращение, приметы которого в некий мартовский день изменили его жизнь.

Когда он возвращался домой, госпожа В., которой долгие часы не с кем было перемолвиться словом, подробно описывала ему свой день, заполненный пустейшими занятиями. Он выслушивал ее внимательно, испытывая жалость и угрызения совести. «Я позволяю ей губить свою жизнь, — не раз говорил он себе. — Это бесчестно с моей стороны...» Он ведь когда-то обещал всем с ней делиться, когда-то даже любил ее. Теперь же она казалась ему чужой или слепой, как, впрочем, и все другие. Однако он не чувствовал себя одиноким: вся земля принадлежала ему. Да что там «земля»! Они владели всем божьим миром, он и подобные ему, правда, их было совсем мало. Он их сразу узнавал, стоило ему лишь встретиться с кем-то из них взглядом, когда он любовался цветком или слышал

птичью трель, и они признавали друг друга, словно заговорщики.

— А что у вас, Шарль?

— В каком смысле?

— Я спрашиваю, что у вас сегодня нового?

— Ну... вы же знаете, — отвечал он. Прижатый к стене, он должен был снова раздуть огонь своей выдумки. Теперь он сочинял, почти не испытывая стыда. — Мне поручили составить отчетный доклад... — Или: — Сдается мне, что меня собираются избрать ответственным секретарем...

— Соглашайтесь, Шарль, — серьезно говорила мадам В. Охваченный внезапным раскаянием, он предлагал:

— Матильда, давайте сходим в воскресенье в сады Альбера Кана? Говорят...

— Друг мой, вы же знаете, ходьба меня утомляет.

Ну и слава богу! Ему было бы жаль разделить с кем-нибудь царство. А может, он боялся, что равнодушные супруги еще более углубит пропасть, которая и так лежит между ними, хотя она и не замечала этого. Или опасался, что выдаст себя, не сдержав восторга перед такой красотой. «Вот уж никогда не думала, Шарль, что вы так любите природу!» — сказала бы Матильда.

Его тоже утомляла ходьба, причем с каждым днем все больше и больше. Нередко, добравшись до сада, который он себе накануне наметил (это он обдумывал перед сном), В. был вынужден опускаться на первую попавшуюся скамью. Его прогулка теперь чаще всего сводилась к тому, что он подолгу простаивал то перед клумбой, то перед заросшей травой ложбинкой, и, успокоенные его неподвижностью, птицы заводили прямо у его ног свои птичьи свары. Он слушал их голоса и чувствовал, как прерывисто бьется его сердце. «От этого я и умру, — умиротворенно подумал он однажды (это было в парке Монсо, как раз десятого марта), — дай бог, чтобы я умер в саду и сразу же».

Это и произошло в саду и сразу, и госпожа В. терялась в догадках, что привело его в такой час в парк Монсо, где его нашли в железном кресле около киоска. К ее скорби примешивалась горькая капля сомнения — но кому было открыться? Она надеялась, что они (его соратники по АГРЕГАМу) заявят наконец о себе, выразят ей, пусть и в глубочайшей тайне, свое горе по поводу невосполнимой утраты, которую они понесли в лице своего президента (к тому времени Шарль уже успел стать президентом: «Но, Матильда, никому ни слова, я на тебя полагаюсь!»). Но они не подавали никаких признаков жизни. Ей было бы легче сознавать, что он ушел из жизни, выполняя секретное поручение, но эта благостная кончина поневоле ошеломила ее; малыш в парке подбежал к матери и сказал: «Вон тот господин, думаешь, спит? Смотри, какой он бледный...»

Похороны протекали по всем правилам. Многие из коллег покойного явились отдать ему последний долг, их было нетрудно узнать по тому, как они шепотом переговаривались о своих министерских делах. Они принесли довольно скромный венок, время года было очень неудачное: весна в этот раз что-то замешкалась.

Но когда уже вот-вот должна была начаться панихида, люди в черном, тяжело дыша — такой неподъемной, видно, была их ноша, — внесли и поставили у гроба огромный венок из живых цветов, которые цветут в разные времена года, — такой венок даже монарх или миллиардер не смогли бы заказать ни в одном цветочном магазине мира.

Мадам В. приподняла вуаль, скрывавшую заплаканные глаза и покрасневший нос, и прочитала на широкой прозрачной ленте словно сотканые из воздуха слова:

АГРЕГАМ СВОЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ

## Слон в кресле

Управляющие фирмой «Африкан импорт» не особенно удивились, когда, войдя в зал совещаний, обнаружили в кресле, которое обычно занимал лорд Авершем, молодого слона, который втиснулся в него с великим трудом. У лорда Авершема тоже был серый цвет лица, маленькие круглые глазки с прищуром и огромные уши. Случись такое на континенте, кто-нибудь высказался бы по этому поводу, но в Сити никто не проронил ни слова. Лишь самый молодой управляющий рискнул выразительно посмотреть на лорд-президента, который ответил ему холодным взглядом, словно говоря: «Что же это вы, молодой человек, ничего в жизни не видели?» Он принял упрек к сведению. Остальные сидели, не поднимая глаз.

Приступили к повестке дня. Лорд-президент привычным жестом — он делал так уже сорок лет — положил на стол карманные часы (их носил еще его прапрадед). Поправляя левой рукой монокль, он невыразительным голосом читал предложения, над разработкой которых службы компании трудились много месяцев, но почтенные члены совета не очень-то в них разбирались. Потом снимал монокль (отчего исчезали два подборodka из трех) и, вопросительно изогнув брови, обводил взглядом стол.

Присутствующие с серьезным видом склоняли головы в знак согласия, и при этом у них вдруг появлялся тройной подбородок. Тогда лорд-президент делал знак секретарю совета, и тот начинал яростно что-то строчить. Потом он бросал взгляд на часы и переходил к следующему вопросу. Этот ритуал оставался неизменным вот уже почти полвека. Бомбежки Лондона во время второй мировой войны нарушили и изменили его не больше, чем «инцидент 11 ноября 1918 года». Тогда какой-то секретарь из лучших побуждений позволил себе открыть дверь зала совета и объявить дрожащим от волнения голосом: «Господа, подписано пере-

мирие!» Тогдашний лорд-президент отрезал: «Это не входит в повестку дня». И на этот раз три пункта повестки дня прошли как всегда. Но когда лорд-президент спросил одобрения присутствующих по четвертому вопросу, лжелорд Авершем позволил себе зареветь. «У Вас есть возражения, уважаемый коллега?» — тихо спросил президент, не глядя на возмутителя спокойствия. Воцарилось молчание, нарушаемое только звуком передвигаемых кресел, — это два ближайших соседа спешили отсесть подальше от провинившегося. Лорд-президент подал знак секретарю, тихо добавив: «Возражение снимается».

Перешли к следующему вопросу, и на этот раз лжелорд Авершем ограничился тем, что потряс своими мощными ушами, отчего у секретаря разлетелись бумаги. Президент сделал вид, что ничего не замечает. Остальные кивнули два, даже три раза, как бы желая искупить недостойное поведение коллеги проявлением своей сознательности. Секретарь дрожащей рукой собрал разбросанные бумаги, но никак не мог разложить их по порядку. «Нет возражений», — продиктовал ему президент вялым голосом и посмотрел на часы — до чего же медленно тянется сегодня время.

Когда он дочитал пятый вопрос, то сделал паузу, словно в ожидании чего-то, и все управляющие приготовились к худшему. И тут вдруг зеленое сукно, покрывавшее стол, оказалось буквально выдернутым из-под рук, которые они прилежно держали сложенными с начала заседания. Новый коллега поддел его бивнями и совсем легонько дернул своей мощной головой, но папки, подсвечники и пепельницы разлетелись по всей комнате. Показалась столешница из красного дерева — ни один из управляющих не помнил подобного за всю свою жизнь. Если бы кто-нибудь из присутствующих вдруг разделся донага, они и то не были бы столь шокированы. На этот раз они осмелились поднять глаза и поглядеть на лорд-президента.

— Господа, — заявил тот, откашлявшись, — боюсь, настало время применить параграф четыре статьи семь наших

правил внутреннего распорядка, а именно: исключение члена совета посредством прямого голосования путем поднятия рук в случае, если «дальнейшая работа члена совета становится невозможной вследствие явной обструкции». Господа, я жду вашего решения.

Шестеро членов совета (те, кто сидел вдалеке от лжелорда Авершема) подняли руки, но шесть ближайших его соседей ни рук, ни глаз не поднимали. Голос президента не засчитывался. Таким образом, принятие решения казалось невозможным, но вдруг все увидели с изумлением, как их незванный коллега поднял хобот вверх. Затем молодой слон с большим достоинством встал, направился к выходу, не обращая внимания на отчаянный скрип паркета, толкнул резную дверь четырнадцатого века, входящую в перечень королевского имущества (так что она разлетелась на куски), и скрылся из виду.

Президент наклонился к секретарю:

— Будьте любезны, свяжитесь с квартирой Авершема.

Секретарь застал там дворецкого и спросил у него, в Лондоне ли его хозяин и не случилось ли с ним чего-нибудь.

— Прошу прощения, милорд, — ответил слуга. — Я должен был предупредить вашу честь, но, к стыду своему, вынужден признаться, что забыл это сделать. Лорд Авершем сегодня не сможет присутствовать на заседании совета: позавчера он уехал в Кению охотиться на слонов.

## Лже-Рюттельбах

В то самое мгновение, когда профессор Карл-Вильгельм Рюттельбах методично, палец за пальцем, высвободив из перчатки правую руку — массивный перстень на мизинце все-таки растянул тонкую серую ткань! — и бережно, словно страницы книги, отвернув полу шубы, затем редингота и на-

конец край теплого жилета, опускал эту оголенную и сразу озябшую на холоде руку в карман брюк, — в это самое мгновение ударили колокола на соборе; башенные часы, каждый час оглашавшие своим звоном Людвиг-Галленгайм, пробили шесть. Профессор недоуменно поморщился. Нахмуренный взор его обратился к башне, вокруг которой металось потревоженное медным гулом воронье; подобным взором он обычно, не прибегая к словам, испепелял на месте дерзкого студента, позволившего себе, к примеру, кощунственно чихнуть во время его лекции. «Как! Уже шесть часов?..» Так и не достав ключей со дна одного из своих глубочайших карманов (а именно правого, так как в левом покоился носовой платок), он прямо тут же, на морозе, решительно и быстро принялся расстегивать пуговицы на всех вышеперечисленных предметах одежды, пока его рука, опять-таки правая, не проникла в жилетный карман (левый, так как в правом хранились монеты достоинством ниже полпфеннига) и не извлекла из него тяжелые золотые часы — наследство от деда, старого врача, и в далеком детстве — предмет зависти профессора. Крышка футляра отскочила, повинаясь его пальцам, как когда-то дедовским, и профессор воззрился на вертикальную линию, которую образовывали стрелки, хотя строгость ее нарушалась украшавшими их завитушками. «Шесть часов», — проговорил он снова и, не зная, где еще искать виновных, удовольствовался тем, что укоризненно покачал головой и поцокал языком: ц-ц-ц! — выказывая таким образом неодобрение эпохе, всему мирозданию и самому господу богу, которого призывал в свидетели разлада в его творении. Ибо каждый день в течение вот уже семнадцати лет звон соборных колоколов, приглушенный двойной плюшевой занавеской табачного цвета, которую вывешивали в прихожей ежегодно в первых числах ноября (а именно второго числа), настигал профессора К.-В. Рютгельбаха между седьмой и тринадцатой ступеньками внутренней лестницы его дома, по которой он поднимался величавой поступью монарха-подагрика. Эти

шесть медленных, как шаги профессора, ударов, доносившихся с улицы, с холода, были частицей промозглого, гулкого и голого зимнего мира, от которого он, завершив дневные труды, запирался на двойной замок, — поднимаясь по ступеням, он все еще держал в руке тяжелую связку из четырнадцати ключей, открывавших доступ во все уголки его владений, от подвала до чердака. Это было царство ковров, темной мебели и матовых стекол; двойные рамы уже не выпускали сюда ежечасный звон колоколов, а двойные шторы не выпускали отсюда тяжелый дух старых книг, крепкого табака, восковой мастики и тушеной капусты, который профессор Рюттельбах вдыхал каждый вечер, закрыв глаза от наслаждения, ибо для него это был запах счастья. Не успевали смолкнуть шесть ударов башенных курантов, как профессора приветствовал родной мелодичный бой стенных часов в кабинете; вслед за этим кот, спавший, свернувшись клубком, у камина, в кресле с протертыми подлокотниками, открывал глаза, зябко потягивался и, сделав на негнущихся лапах несколько шагов — не сходя, однако, с ковра — навстречу черным ботинкам и жестким брюкам, терся о них, недовольно мяукал и снисходительно подставлял выгнутую спину небрежно гладившей его руке. «Ну что, — спрашивал его вполголоса профессор, — что у нас новенького?» Хотя все вокруг ясно говорило, что ничего, благодарение богу, не случилось и что целый день, до самого возвращения владыки, ровное дыхание кота, потрескивание дров в камине и тиканье часов охраняли теплый домашний уют. Профессор подходил к письменному столу и так резко швырял на него портфель, словно хотел отыгаться за то, что столько времени в университете вынужден был держаться степенно и величественно, или доказать коту и старой Урсуле, ловившей у себя на кухне каждый звук, что он мужчина, единственный мужчина и хозяин в доме. С неожиданной для него поспешностью он извлекал книги и тетради из утробы толстой кожаной твари, быстро складывал их стопкой и прятал выпотрошенные останки в ящик стола. Вечером, после

ужина, он зажжет лампу с зеленым стеклянным абажуром, которую помнит с детства: ее отсветы скользили по ермолке, гладкому лбу и холеным рукам его отца, судьи, когда тот готовился к предстоящему на другой день заседанию. При скудном свете той же лампы, в той же позе и так же вздыхая, готовился теперь он сам к своим лекциям, вот только некому было сидеть с ним рядом в кресле с подголовником, молча шевеля спицами и обращая на него невозмутимый взгляд поверх очков после каждого его вдоха. Его матушка... Не было вечера, чтобы вид этого кресла не наводил его на мысль о матери, которая когда-то восседала в нем, выпрямив спину, с высокомерным и замкнутым выражением лица, — с тем же выражением и так же прямо лежала она в гробу. Отца же мстительная память рисовала ему лишь таким, каким он стал после смерти матери: безвольным, жалким стариком со слезящимися глазами; он помнил еще скандальные похождения, которыми отец опозорил себя на старости лет, и его смерть от сердечного приступа. Рюттельбах никогда не думал о старом судье, но, сам того не сознавая, воскрешал отца своим сходством с ним и восстанавливал его репутацию подчеркнутой респектабельностью походки и манер. Вот и теперь, когда, разложив книги по местам, профессор проходил перед зеркалом, отражавшим его в полный рост, в мутном стекле на миг ожил судья: тот же солидный животик, та же бородка, те же очки и те же ни на йоту не изменившиеся вещи вокруг. Однако профессор никогда не останавливался перед зеркалом; заученными, отработанными движениями, подобно разоблачающемуся священнику, он снимал шубу, затем редингот. На низком столике у камина Урсула всегда заранее раскладывала домашний халат из малинового бархата, ермолку с кисточкой, набитую трубку, газету, а рядом на полу выставляла шлепанцы. Сама она неизменно появлялась только в тот момент, когда хозяин, успев завязать пояс халата и разжечь длинную фарфоровую трубку, откидывался на спинку старого кресла.

— Добрый вечер, господин профессор.

— Вечер добрый, Урсула.

Много-много лет назад Урсула звала его просто Карл-Вильгельм, затем, как только ему стукнуло шестнадцать, стала величать «господином Карлом-Вильгельмом» и наконец «господином профессором» — с того самого дня, как он получил это звание. Сколько же лет было ей самой? Профессор, не слишком задумывавшийся на эту тему, видимо, считал, что столько же, сколько и в пору его детства, хотя каждый год двадцать третьего февраля аккуратно поздравлял ее с днем рождения и вручал золотой, завернутый в вышитый платочек.

— Вечер добрый, Урсула.

Опустившись на колени, она расшнуровывала ему ботинки, надевала на ноги шлепанцы и бесшумно, под стать коту, удалялась. Двери за собой она не закрывала, так что аппетитный жаркий дух расходился по всему дому. «Цесарка с тушеной капустой, — определял профессор, расширяя ноздри, чтобы насладиться ароматом, — верно, ведь сегодня среда». Поглядев еще немного на огонь в камине и разбив кочергой пару рассыпавшихся искрами головешек, он наконец брал в руки газету, и в ту же минуту к нему на колени вспрыгивал кот и принимался блаженно мурлыкать.

Но нынче вечером удовольствие от домашнего ритуала было омрачено. Профессор не ответил на приветствие Урсулы, не распознал запах вторичного кролика с грибами, не заметил, как потухла трубка. Как могло случиться, что этот звон... Может быть, он затянул лекцию или дольше обычного пожимал руки коллегам? Может, задержался у витрины колбасной лавки, где уже появились рождественские окорока, украшенные фигурками гномов и оленей из свиного жира? А может, у витрины кондитерской с традиционными пряничными медведями и шоколадными звездами? Но скорее всего другое: он замедлил шаг, увидев впереди Фриду Гебхарт в тяжелом меховом манто, которое, однако, не могло скрыть ни ее широких бедер, ни стройной талии, — замедлил шаг, чтобы подольше идти за ней, упи-

ваясь соблазнительным покачиванием ее тела. Фрида — племянница бургомистра, и если Рюттельбах решится наконец сделать ей предложение, то вполне возможно, что уже в мае она станет госпожой профессоршей. И тогда эта женщина... Женщина — здесь? Урсула этого не перенесет. А вдруг Фрида вздумает ввести здесь новые порядки да еще новые блюда в меню? И ему придется проститься с привычными запахами и вещами, с домашней тишиной и покоем? А что станет с самим Рюттельбахом, с этим совершеннейшим часовым механизмом, отлаженным тремя сменившимися за век поколениями предков, если в этот дом войдет молодая женщина и нарушит весь распорядок дня своими капризами, болтовней, своими духами — не забудь про духи, Рюттельбах! Профессор вздыхает так шумно, что оскорбленный кот покидает свое место; Рюттельбах встает и нервно расхаживает взад и вперед по сумрачной комнате, а Урсула, услышав эти непривычные шаги, настораживается. Часы отбивают четверть седьмого, их бодрый звон радует душу. Как голос Фриды... «Карл-Вильгельм, это ты?» — слышал бы он каждый вечер еще с порога, и пусть бы тогда соборные колокола звонили, когда им вздумается! «Это ты...» С тех пор как умерли родители профессора, это слово исчезло из домашнего обихода, даже к коту он обращался на «вы». «Ты» он говорил только одной модистке из соседнего города, с которой вот уже десять лет тайно встречался по субботам; она тоже развязывала ему шнурки, хотя, погрузнев с годами, делала это не так проворно, как прежде. Юная Фрида — совсем другое дело, но то-то и оно: не окажется ли он по ее милости в смешном положении? Если к отцовскому позору добавится еще и этот новый, имя Рюттельбахов окончательно погибнет. Впрочем, оно погибнет и так, если у тебя, Карл-Вильгельм, не будет наследников, а уж за Фридой дело не станет — она народит тебе таких крепышей! Бутуз на коленях — это, пожалуй, лучше, чем кот. Ну да, один бутуз, продолжатель рода, — это, конечно, хорошо, а что, если плодоносное лоно Фриды примется дарить ему по

наследнику в год? Если с этого прекрасного крутобокого судна высадится целая команда сорванцов и разгромит весь домашний музей Рюттельбахов? Зато как гордо вышагивал бы он впереди своего выводка на воскресной прогулке! Да, но как страшно было бы, уходя по утрам в университет, оставлять их хозяйничать в доме...

Заложив руки за спину и бормоча себе под нос, профессор расхаживает от двери к зеркалу и обратно. Его трубка остыла, камин почти потух, кот обеспокоен не меньше, чем Урсула. Но что это, почему, проходя очередной раз мимо зеркала, он вдруг поворачивается лицом к окну, к городу, к жизни? Это он увидел вас.

— Ну что, попались, читатели! — восклицает он так свирепо, что кот удирает на кухню. — Что глядите с глупым видом? Ах, вы собирались преспокойно подглядывать за моей жизнью и рассчитывали, что я не замечу?.. Знаю я вас, соглядатаев. Им, видите ли, хочется вволю поглазеть, благо никто не запрещает... Э, нет, теперь уж не уходите! Объяснимся хоть раз начистоту. Значит, вы поверили в этого Рюттельбаха? Достаточно было нескольких избитых деталей, чтобы я начал для вас существовать... но разве, беспмятные вы тупицы, вы не знаете не хуже самого автора, с какого чердака он вытащил все это старье? Там испокон веков роятся писатели, все как один. Каждый век сваливает туда свой хлам: наряды и обряды, меблировку и драпировку, этикетки и марионетки — настоящая барахолка на потребу писакам. Они передают друг другу весь этот реквизит из поколения в поколение, чтобы разыгрывать для вас кукольные представления. «Рюттельбах»! Протрите глаза: костюм, грим, декорация, свет — все старо... И вы клюнули? Да ведь все это вы сто раз читали в разных книгах, ведь никто никогда не выдумывает ничего нового, а вы — как дети, которые требуют, чтобы им без конца рассказывали одни и те же сказки. Впрочем, вам и не нужно никаких знаний, лишь бы узнавать в этих росказнях самих себя. Вы только делаете вид, будто хотите нового: «Ах, неужто в мире нет ничего но-

венького!» Так вот вам последняя, прискорбная новость: ничего нового в мире действительно не осталось. Разве что гении, изредка попадающиеся в каждом поколении, — так ведь от них вы шарахаетесь. Они устраивают вас только тогда, когда их притупит и обкорнает время, когда их выхолостят комментаторы. Вам нужен музей восковых фигур или зеркало — и пусть отображение заменяет соображение. Словом, вам нужен Рюттельбах!.. Рюттельбах! — повторяет он с презрением и злобой и раздражается таким едким, таким издевательским смехом, что я решаю заступиться за писателей и читателей. И вот я выступаю на сцену, и меня окружает декорация, которую, как мне казалось, я сам сотворил, тщательно подбирая детали, но которая, как я теперь вижу, состоит из обветшалой рухляди; я дохожу до мутного зеркала и... немею. Ибо то, что я в нем вижу, хотя и служит мне оправданием, но внушает леденящий ужас и стыд: солидный животик, борода, редингот... Рюттельбах! Да, я и есть Рюттельбах...

# Содержание

- 5 Г. Косиков. О рассказах Жильбера Сесброна
- 12 Елисейские поля. *Перевод Вал. Орлова*
- 51 Смутьян. *Перевод В. Каспарова*
- 62 Немецкая овчарка. *Перевод В. Каспарова*
- 71 У дьявола длинные уши! *Перевод Е. Спасской*
- 75 Дорога Форлоннера. *Перевод О. Смолицкой*
- 79 Блаженны дарующие. *Перевод Г. Шумиловой*
- 81 «Мсье». *Перевод М. Ильховской*
- 84 \*\*Господин Стефан уже не видит снов... *Перевод М. Зониной*
- 86 Птаха. *Перевод Л. Кравченко*
- 89 Четверть первого. *Перевод Г. Шумиловой*
- 93 Президент Бруардель. *Перевод Н. Хотинской*
- 96 \*Зеркало. *Перевод И. Истратовой*
- 105 \*Фамилия. *Перевод Н. Хотинской*
- 120 \*Блудный отец. *Перевод А. Бахмутской*
- 133 \*«Ваше превосходительство!» *Перевод Н. Хотинской*

- 136 \*Побежденный. *Перевод Е. Болашенко*
- 140 \*Красноносый. *Перевод А. Бахмутской*
- 144 \*Возвращение. *Перевод Е. Ливицц*
- 154 \*Электронный мозг. *Перевод И. Истратовой*
- 162 \*\*Мушка и медведь. *Перевод П. Эрлиха*
- 165 \*\*Пятый шаг. *Перевод Е. Спасской*
- 171 \*\*В деревушке Ля Фюри. *Перевод Г. Шумиловой*
- 176 \*\*Не у дел. *Перевод В. Каспарова*
- 179 \*\*Ночной Париж. *Перевод Н. Мавлевич*
- 187 \*\*Колдовство. *Перевод Вал. Орлова*
- 189 \*\*Венок. *Перевод Е. Болашенко*
- 194 \*\*Дарио. *Перевод Г. Шумиловой*
- 198 \*\*Папаша. *Перевод И. Истратовой*
- 200 \*\*«В случае опасности потяните за ручку...» *Перевод Вал. Орлова*
- 203 \*\*АГРЕГАМ. *Перевод В. Каспарова*
- 212 \*\*Слон в кресле. *Перевод Е. Болашенко*
- 214 \*\*Лже-Рюттельбах. *Перевод Н. Мавлевич*

\* © Editions Robert Laffont, 1979

\*\* © Editions Robert Laffont, 1980

## Сесброн Ж.

С33 Елисейские поля: Рассказы / Пер. с франц. Сост. В. Каспарова, Н. Мавлевич, Вал. Орлова. Предисл. Г. Косикова. — М.: Известия, 1987. — 224 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

Рассказы известного писателя Жильбера Сесброна (1913—1979) обращены к простым людям, к таким же, как и он, которых он любит и которым хочет помочь. Сесброна тревожит безликость, запрограммированность среднего француза, его готовность смириться с собственной судьбой.

С 4703000000—036  
074(02)—87 63—87

ББК 84. 4Фр  
И (Фр)

ЖИЛЬБЕР СЕСБРОН

ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *А. Николаевская*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1116

---

Сдано в набор 26.03.86. Подписано в печать 22.10.86. Формат 70X100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,10. Усл. кр.-отт. 18,5. Уч.-изд. л. 10,14. Тираж 50 000 экз. Заказ № 343. Цена 1 р. 10 к.

---

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

---